



ВЯЧЕСЛАВ ФИЛИПPOB

НА САМОМ ДЕЛЕ

ОПЫТЫ В ФОРМАТЕ ТХТ

Вячеслав Филиппов

**На самом деле.
Опыты в формате txt**

«Издательские решения»

Филиппов В.

На самом деле. Опыты в формате txt / В. Филиппов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969769-1

Автор утверждает, что создание мира на бумаге — процесс распада личности самого автора, который должен поэтому быть максимально безразличным к тем, кого он поглотил за свою жизнь: геев и натуралов, княгинь и крановщиков, учителей, водителей и прочих обитателей N, которые он и есть на самом деле. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-969769-1

© Филиппов В.
© Издательские решения

Содержание

На самом деле	6
Об авторе	7
О городе N	10
Возвращение Гали	16
Моника была неподражаема	22
Труба	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

На самом деле Опыты в формате txt

Вячеслав Филиппов

© Вячеслав Филиппов, 2019

ISBN 978-5-4496-9769-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На самом деле

Вячеслав Филиппов

Об авторе

Кто он? Вопрос, надо заметить, совсем не праздный, как могло бы показаться на первый взгляд, ибо то, что уже сказано – поверьте, сказано многое, – совсем не даёт нам права судить о предмете как о чём-то законченном и уж совсем известном, известном до такой степени, что даже пропадает смысл, зато скука разевает рты, а язык ищет эвфемизм для слова «пошлость». Давайте пройдем в комнату, посмотрим на его стол, пролистаем дневник, а если хватит смелости, то и откроем шкаф – что же там? В комнате висит репродукция Дали («Постоянство времени» – шутка ли?) – мы определим его как интеллигента, естественно, нищенствующего. Впрочем, можем ли? На столе бардак, несколько мёртвых ручек, исписанные бумаги, две дискеты 1,44 (одна из них уже нечитаема), кружка с присохшими к стенкам чайниками да брошюрка, дареная свидетелями Иеговы¹ (впрочем, до конца не терявших надежду протиснуть через узкую щель в дверях веру). В дневнике, помимо стихов, зашифрованных имён, описания знаменательного дня, – студенческая бухгалтерия (сколько купил тетрадей, сигарет, у кого занял), в равной степени поэтичная и скучная, сухая и загруженная слезами ностальгии. Но даже в шкафу порывшись мы не сможем продвинуться за рамки приблизительной схемы: две рубашки, неплохой костюм (вышедший, однако, из моды ещё прошлым летом), джинсы, тёмный свитер и светлый свитер, несколько галстуков на перекладине. Казалось бы, именно шкаф откроет нам глаза, однако скрип дверцы (закрываемой нами осторожно, предельно осторожно) понуждает нас отступить и сесть на диван-кровать (отодвинув в сторону книжку Пелевина и англо-русский том), закурить и подумать о том, как мог бы наш объект назвать его, эту мебель: можно представить героя, словом «шкап» (милый шкаф) обращающегося к полированному чуду; может, он, отвечая на свой же вопрос «где моя синяя рубашка?», говорит «в шкафе» (в разошедшемся, мебельная фабрика ордена знамени №24); может, имя стёрлось и слилось с репродукцией, с датой в дневнике, и потерялось? Как бы то ни было, величие и конкретность вещи дальше уносят мысль о нём, в сторону, и мы, тряхнув рукой (от бессилия; выбрасывая за окно окурок, догоревший до самого фильтра), понимаем, что не имеем иного желания, чем задать несколько хитрых (значит – умных) вопросов с целью выяснить отношение к тому-то и тому-то, дабы затем, в тиши кабинета, обложившись монографиями, составить нехитрый пазл. Это будет обстоятельная беседа, в которой каждый звук и жест для нас важен, даже потирание носа, кривление губ и тональность ударений. Например: какие у вас были отношения с матерью? (вкрадчивым голосом.) Вы наблюдали (слышали, видели) когда-нибудь интимные отношения между родителями? (что-то строча, иногда, во время ответной паузы, поглядывая поверх очков) Что вы почувствовали в тот момент? Было ли вам грустно, страшно, хотелось ли вам защитить мать, и что вы чувствовали к отцу?.. Теперь, после ответов, данных рассудительно, без блеска в глазах, спросим себя: не читал ли он те же умные книги, чтобы, почувствовав недвусмысленный интерес к его персоне, воспроизводить заученный текст, составленный из приводимых в книгах примеров?..

Итак, мы выбросили окурок и теперь смотрим во двор с балкона (как уже не раз, должно быть, делал исследуемый). Само собой, у обладателя репродукции Дали («Постоянство времени») и автора претендующих на вкус стихов (вы помните дневник?) возникали различные мысли при виде соседних домов, родной школы и из года в год гуляющей с одной и той же собакой женщины в зелёном плаще. Наверняка, он пытался угадать имя собаки (сейчас уже старой, ожиревшей, хромоватой), его раздражала – почему бы и нет? – эта женщина, каждый вечер (в двадцать один ноль-ноль) в течении десятилетия одевающая неизменный зелёный плащ для прогулки со своей любимицей (а может даже любимцем, что менее вероятно,

¹ деятельность организации запрещена в РФ

но также – не правда ли? – возможно). А вот то школьное окно, затянутое фанерой (в память о хулиганах-двоечниках) – хотел ли он его застеклить? Подумали, спросили, но вот вторая сигарета туманит, и всё рассеивается, превращается в пыль, игра, фата-моргана и мираж, вода в ступе – мы толчём её (а на лице – улыбка). Ни о чём нам вид с балкона не рассказал, приходится вернуться в комнату, чтобы – при котором уже взгляде за это время на репродукцию? – понять, что ни на йоту не приблизились к поставленной задаче. Но кулаки сжимаются, ещё есть гордость внутри (где-то очень глубоко, не так ли?), а порох – в пороховницах, мы что-то помним о дедукции, как же правильно произносить – дедукция? Затапав прямо на ковре окурок (помните, что это была вторая – несмотря на какое-то недавнее обещание – сигарета за утро), начинаем уже смело рыться в комодах, в ящичках, пролистывать страницы книг в надежде, что выпадет важный и страшно интимный документ (свидетельство, билет в театр, справка, надушенная записка, чек); перебирать носки в нижнем отделении шкафа – или же шкапа; заглянем за репродукцию – ищем сейф... но заденем локтем горшок с традисканцией и окурками (курит ли он?) и успокоимся, оцепенев в безмолвном извинении «что я наделал?» Давайте же прислушаемся к звукам, точнее, послушаем, не раздастся ли звук за дверью, чей-нибудь голос и поспешные шаги (они придут и застанут на месте преступления; устыдят, сдадут; заставят убрать землю и возродить растение). Вот так можем простоять вечность, но только ужасные стуки в огромном многоквартирном доме, жужжание мухи и вскрики снаружи, со школьного поля, – только они могут настигнуть жертву любопытства, но – слава богу – и они растворяются и меркнут, помигав вокруг. Вечность – много, уже через минуту переводим дыхание («хух») и садимся на стул. Но ведь что-то должно же быть! С другой стороны, что и кому должно? Беспредметный разговор: не зная ещё что, уже велим ему быть должным. Пристыженные несправедливым отношением к нечту, попытаемся успокоиться (есть верные средства: валерьянка, третья сигарета, внезапное равнодушие) и снова окинем взглядом комнату, отметив заодно какой беспорядок произвели (кстати, совершенно напрасно).

А его письма? (сейчас можно так вот перескочить с одного на другое, как на самом деле происходит) Писал ли он письма? Если да, то кому? Естественно, своей Любви. А начинал (судя по репродукции на стене) он письма не с обычного «здравствуй», а, возможно, с поэтической строчки, или с упоминания «песни, которая запала мне в душу, размягчённую этим нездоровым воздухом». Предположим, это будет песня британской группы «The Beatles» (это известная рок-группа, она произвела переворот в музыкальной индустрии, как бы эта фраза ни звучала) «You Know My Name». Кажется, это какая-то мистификация или подлог, но уверим, что это не так! Песня и в самом деле интересная, так почему бы он не мог её упомянуть в начале своего письма вместо обычного «здравствуй»? То, что письма его не начинались с цитат из песен другой, не менее известной группы (известной в силу того, что таких групп много), мы уже знаем, судя по тому удивлению, что буквально взорвало нас при осмотре гардероба, в котором мы не нашли спортивных штанов и свободных ярких футболок (кстати: похоже, мы делаем успехи, так что не будем останавливаться. При мысли об этом, в груди у нас поднимается возбуждение, а заплаканное настроение начинает улетучиваться, но неуверенно, туговато). Он мог бы написать так: «You know my name, моя Любовь, поэтому я, расплавленный твоим отношением ко мне, оставляю обычную этикетку в стороне, иначе самый вид чистой бумаги – письма – подействует на меня разрушительно, и я стану обращаться к тебе как к директору или коллеге, но ни как к...» (скорее всего, в таком виде и дошёл бы до нас обрывок, а исследователи написали бы, что, к сожалению, не все письма дошли до нас, а от некоторых остались лишь начальные фразы или просто поля). Заметим, что строчка из песни не сопровождалась бы указанием на авторство, и этот факт позволил бы нам сделать вывод, что получатель имеет полное представление об источнике, – позволил бы, но не позволяет по простой причине ненаписанности письма (что нас, несомненно, огорчает...). Раз так, мы должны оставить свою задачу – читать ненаписанные письма – и обратиться к более прозаичным вещам.

Конкретнее: снова пробежим глазами по комнате и пролистаем дневник. Неужто не хотим? Устали...

О городе N

– Вообще у нас не очень-то уютный город... Я бы даже сказала, в нём как-то пусто. В смысле... тут как, в смысле – куда ни приди, везде сразу как бы конец, сразу вот за улицей той и поле. И всё вокруг поле, лесов очень мало. Когда начались девяностые, так сразу появились причуды, вроде того, что Театральная это центр города, ну тут конечно красиво, ещё кафе «Париж» очень характерно, а когда-то до Революции это был ресторан какой-то крутой, ну как крутой? Дорогой кабак, я думаю. Тут кругом всё лепнина да пилястры. А потом это был ресторан «Москва», ну а остальное здание было гостиницей «Москва» тоже, как ресторан. Я не знаю, если бы ты приехал так году в восьмидесятом, то либо в «Москву» бы поселился, либо в «Волгу». Ну или бы к нам пришёл, у нас бабка сдавала соседка комнату, всегда кто-то жил, уж не знаю, откуда столько народу бралось. Конечно, обычно девки из деревень, которые в кулинарный или текстильный. В «Москве» конечно шик был, сейчас тут всё стоматологи да окна пластиковые.

– Так почему не уютный?

– Ну я ж говорю, вон глянь. Эта вот площадь Театральная, и потом и не было в принципе никакого места другого, чтобы это вот сделать центром, ну всем захотелось сделать центр тут, был даже некий фаст-фуд, прогорел конечно, очень характерно. Забывали всё. Нет чтобы хоть блинную там или не знаю, так нет – не помню, как-то он назывался ещё так, что-то вроде Мак-Гро или как-то так. Ну и тут вроде как очень модно было собираться. Напротив это вот кафе было, «Париж», они раньше ещё на тротуаре держали столики и зонты, потом всё переломали. И вот вроде бы сидишь и думаешь, ну и правда как Москва, здания такие, лепнина, всё так замкнуто, как бы уютно. А глянешь назад, там переулок Пятницкий, и сразу река, а другой переулок, ну совсем оба короткие, Ковровский, а там сразу же эти заборы коттеджей, и вот сидишь как бы в центре, а на самом деле на самом краю города, и вот тут повсюду так. Я когда в Москве жила, то очень теперь скучаю по этому ощущению, когда сидишь где-нибудь ну не знаю, и знаешь, как всё вокруг плотно так, всё обустроено, не видишь этой вот пропасти. Могу тебе рассказать про площадь саму, интересно? Я когда гидом работала, вон там кстати на Баграмяна есть мой музей, постоянно про площадь говорила.

– Расскажи, мне пригодится. Мне здесь нравится.

– Ну тут в принципе и всё, там ещё ближе к парку есть церкви, но они не такие, помельче, да и не работают. А этот вот собор очень большой, как ты видишь. Правда, там-то есть самая старая церковь, XVII века, а эта-то конца XIX, когда тут железную дорогу построили, ну и решили сделать что-нибудь этакое, как у нас любят в России, и сделали полукруглую площадь. Тут была часовня, а они значит собор построили, и даже икону купили в Киеве. А напротив, чтобы конфликты были, контрастом, построили театр, раньше его называли театром Знаменского, это его владелец был, а потом Центральным домом культуры, ну так официально и называется и сейчас, а в народе просто театр. Я слышала как-то пытались в газетах да и вообще говорить «театр Знаменского», но это так смешно, мне кажется, мы тогда даже фотографий этого Знаменского не видели, а они сразу начали, ну и потом статья была про него большая, не помню в девяносто каком-то, вот такой вот деятель, как это всё замечательно, да на самом-то деле он умер через два года после постройки, и вообще просто коммерсант был, а на театр-то ему плевать он хотел, они тогда даром что не написали «коммерсант» с ятью на конце, с ером точнее.

– Почему плевать?

– Да он ещё лавки держал, а тут просто подвернулось построить, а они сразу начали Немировича-Данченко приплетать, наши-то деятели, ну конечно, как у нас в России делается. Уцепиться не за что, а то, что рядом в могиле лежит Артёмов, им не интересно, они не пишут.

– А это кто такая, Артёмов?

– Артёмов-то? А это очень интересная была женщина. Она была поэтом как говорится местного значения, хотя я читала её саму и её письма, она с Ивановым переписку даже вела, и очень я бы сказала не местного значения, стихи у неё конечно в русле эпохи, символизм. Но самое, что она сделала, это стала директором гимназии и способствовала, чтобы её не закрыли. Конечно, она ничего не построила, и вообще она якобы ужасная, потому что с большевиками связалась, да только я не вижу в этом ничего такого предосудительного. Она и до Революции хотела что-то такое новое делать в гимназии, а после она сразу начала реформы, очень деятельная была, детям очень много про искусство давалось, очень много, я ещё смотрела про её учеников... э-э... многие стали выдающимися людьми, и тут, и в Москве, и в Ленинграде. Вот это я говорю – деятель, а Знаменский тот конечно хорош, но не заслужил таких пеанов. Сейчас в гимназии той департамент образования мэрии.

– Так что там ещё про площадь?

– Ну... что там ещё у нас? Собор я говорила? А, ну да, его построили в восемьдесят пятом, тыща восемьсот конечно, настоятель кстати первый совсем старый был и уехал в Болгарию после Революции. Но так интересно, собор-то закрыли только на десять лет, и не разграбили, главное, я до сих пор думаю, как это так вышло. Вот потом хуже было, при Брежневе, много что в музеи забрали, наш и областной, никто его не ремонтировал, а потом у него купол обвалился.

– Господи! Как так?

– Ага, ещё по городу, это мы тогда в Москве жили, говорили, что это к изменениям, что теперь Бога снова чтить будут. Да только чушь это всё. По всей стране после этого началась прямо таки христианизация, а у нас собор стоял закрытый, потом правда внутри сделали такой внутренний как бы потолок, как бы из досок, а купол всё так и стоял, такой ужас был, просто ужас. Я вообще не понимаю, почему так вышло. Так у нас собор стоял закрытый больше, чем при большевиках, там десять лет, а тут с восемьдесят третьего и до девяносто пятого, так сколько?

– Двенадцать лет.

– Ну да, двенадцать лет. Я когда вернулась в восемьдесят восьмом, помнишь, стала работать в музее, ну как же, я же такая им тут казалась, а мне самое главное и не показать, и если были какие делегации или просто заезжие, я водила их на Театралку, показывала собор и говорила, что сейчас идут реставрационные работы, а они вообще не шли, тут даже окна были в досках. Я не знаю, верили или нет, а я красная была. Так они сначала начали окна вставлять, а потом этот потолок строить, и тоже побили стёкла всякими досками, такой бред был. Я как раз тогда не выдержала и уволилась, да и не платили ничего вообще. Там всё через музей делали, вот говорят – правительство, правительство, а у нас простые старые музейные девы воровали, что на собор должно было идти.

– В смысле воровали?

– Ну я точно не знаю, мне так противно было, ты не представишь как противно. Там например у нашей директрисы мешки цемента на даче оказались несколько, ну и так далее. Я тогда ушла, мне уже не интересно было. А кто бы меня слушал-то? Ну да ладно, Бог им судья. А мне просто противно стало, не могу я такие вещи сносить или как-то терпеть. У меня вон тоже дача была, от матери досталась, как раз напротив Поля Чудес.

– Что за поле такое?

– Ну русское такое поле, – усмехается. – Сначала там был простой кооператив. Это же у нас как? Река, да, видишь? Вон в переулок видно старую набережную. Вот я про это тебе и говорила. Потому что сидим мы с тобой как бы в центре, ну как тут принято было считать, а на том берегу в этом же месте уже ничего нет, там новые районы уже кончаются. Так вот где они там кончаются, там тоже дачи начинаются, но там от домов до дач ещё я не знаю

сколько, раньше даже «калоша» ходила до дач тех. А тут – Поле чудес, ну в смысле был кооператив, не знаю, как он назывался, а потом тут стали коттеджи строить и коммуникации подводить городские, тут же от этих старых улочек до заборов совсем ничего, простой... буквально пустырь, я ещё помню в детстве здесь в футбол играли, брат мой играл, мы жили-то не так далеко, пока нам не дали квартиру на Мира.

– На Мира – это вот куда я... э-э... в прошлый раз приезжал, рядом там ещё парк какой-то?

– Да-да-да, там и была. Мы потом её разделили на две однокомнатные, одну дочке, а вторую я соединила с комнатой, вот кстати с той комнатой, где мы тут недалеко жили... Вот ты думаешь, я тебе просто как гид всё говорю, а для меня-то это как бы район детства. Театралка, собор, поле это футбольное. Это у нас была Одесская улица, комната-то, там до войны всё стояли двухэтажные дома частные, тоже когда-то купцы всякие жили, но все деревянные, я фотографии видела, причём очень дома красивые, но деревянные, и само собой никто за ними не ухаживал, их сначала заселили из деревень, а потом... так, да... после войны их снесли, а потом построили низкие такие длинные дома, но не хрущёвки, нет, а такие как бы... провинциальные сталинки. Дома и правда хорошие, они сейчас тоже ценятся, но там говорят трубы совсем уже износились. И все одинаковые. Обычно-то сталинки говорят, ну вот если посмотреть в областном центре – там и колонны есть, и рустовка, мне особенно у них там нравится дом такой, там есть колонны и сандрики, и хотя город-то моложе нашего, а именно то место выглядит, тоже площадь, ну просто как Питер, ну как Питер, очень такой грамотный подход к архитектуре, ансамбль. А у нас тоже сталинки, но три этажа и без лепнины, зато изнутри дворов были огромные балконы, ну они и сейчас есть, по крайней мере не рушатся. Там такие квадратные колонны, очень красиво. Мы когда из барака переехали, то всё спорили из-за балкона, потому что коммуналка, а балкон-то общий, из кухни был, и то там эта повесит бельё, а нам детям надо было играть, а потом соседка туда поставили стол и стулья, вообще было замечательно. Я кстати комнату ту её сыну и продала, так когда заходила, мне так грустно стало, потому что комната осталась отцу, а мы с мамой и дядей Женей и получили ту квартиру, так для меня Одесская осталась в памяти как счастливая семейность такая. А они главное ещё когда папа был жив, всю квартиру себе уже оттяпали, и балкон застеклили. А балкон-то огромный, что тут скажешь. Как зимний сад вышел. Это вот если мы с тобой сейчас пойдём отсюда, то выйдем на Баграмяна, и если свернуть направо, то дойдём и до Одесской. Но вообще я думаю тут надо тебе показать Речной бульвар и проспект Победы.

* * *

– Странно, мне кажется, что это Речной бульвар.

– Ну да, это тут даже шутили раньше. Но это всё просто на самом деле: если по нему всё идти и идти и идти, и перейти проспект Победы, то там будет главный причал города, вот потому и назвали, в смысле там речной вокзал, как в Москве. Они это странно так сделали, конечно, ну да Бог с этим. Для меня лично Речной бульвар очень такой... воспоминательное место, как бы так сказать. Очень многое связано. Тут во-первых роддом мой, в котором я Дашку родила, и потом... Сашеньку, да...

Наступила очень долгая пауза, когда мы медленно шли вдоль большого панельного здания, выкрашенного в жёлтый цвет. Валентину Олеговну я знал довольно давно, по Москве ещё, когда она работала в Историческом музее, и ещё тогда узнал о её сыне, Александре, который умер в год с небольшим, от неизвестной мне болезни мозга. Я был удивлён, что она вот вдруг сказала про него, хотя с другой стороны... нет, мне не понять, и хотя прошло больше тридцати лет, я уверен, боль не могла утихнуть.

– Вот кстати на Речном, он когда-то назывался Воздвиженской улицей, тут раньше стояла церковь Воздвижения, ещё есть примечательное здание, это торговые ряды. Это самое первое

каменное здание города. Ну конечно после церквей, я имею ввиду, что светское, так сказать. Это аж конец XVIII века. На самом деле, ничего такого особенно, это вон то, видишь? С арками такими тяжёлыми. Там есть такой придел как бы, поздняя пристройка, там кулинарный техникум располагается. И вот когда-то я помню это был самый главный магазин, до постройки Дома торговли, там всё было, чего нигде не было. И ткани там, и обувь, и всё на свете, а ведь наш текстильный комбинат очень славился, у него там был огромный отдел, там такие шторы были – изумительные. Потом помню их было не достать нигде, а потом я нашла в Москве, так радовалась, в ГУМе, и тычу Андрею Николаевичу, мол, смотри, шторы-то наши, из N, а он смотрит и не понимает. Мы купили тогда, конечно, и они у нас висели ещё очень долго, так так и не обвисли, очень качественные вещи делали тогда, очень качественные. А потом вот открыли Дом торговли, на проспекте Победы, а он больше, современный, Дом торговли, но его построили тогда, когда всё стало исчезать, и вот он стоял, как я уезжала с Андреем, уже полупустой, и так у меня и остался образ этот, что вот в старом городе всё такое пышное и богатое, а советское всё – оно очень бедное, такое выскобленное. Ну вот мы сейчас дойдём до проспекта, сам увидишь. Потому что город у нас никогда портовым не был, и вообще тут что-то началось только когда построили железную дорогу, а так – небольшой городок, ну и вот торговые ряды эти. И то есть к реке он близко не подходил, и когда собственно начали его застраивать при советской власти и построили завод, и на месте деревни Лензево построили новый район города, чтобы на завод ездить не так далеко было, и вокзал туда перенесли, а вместо старого просто станция стала и трамвайное депо, западное. Так вот этот пяточок-то оказался в настоящем центре города, ну у нас же тут уникальная вещь. Тут три района соединяются прямой эстакадой, она на самом деле возвышается над землёй, ну там видно уже нам, что лестницы, и вот эта эстакада и есть проспект Победы. Помнишь, может, в Перестройку все подсели на нло и прочую такую, так вот я когда приехала, а как раз разгар был этого всего, и я в музее слышала разговор, что под эстакадой какие-то секретные объекты, да просто берег топкий, там такие огромные сваи. А они то радиоактивные отходы, то зенитные ракеты, чтоб по Америке стрелять, то якобы там кладбище было, то ещё что. Не знаю, откуда набираются люди этого, своего города не знают, а мне бабушка рассказывала, что там запросто до войны можно было клюкву собирать, ну представь, вот ты в городе, а из торговых рядов вышел, прошёл буквально минут двадцать – и вот уже корзинку клюквы насобирал.

– А ты не собирала? Или уже не застала?

– Ну почему не застала. Я помню там такой кустарник всё рос, у нас же тут то ёлки густо, то потянется всё кустарник и мелкие деревья, они в болоте плохо растут. Но клюкву не собирала, это же там говорят, дети пропадали и всё такое. Да я думаю, что тут есть резон, потому что город-то в основном из приезжих составлен теперь, но об этом месте всегда ходили слухи в окрестностях. Но это очень всё просто. На месте N было финно-угорское поселение, да, они далеко забрались, а часто, я заметила, когда читала там разные книги, что если было некогда поселение другого народа, который ассимилировался, то сразу начинаются слухи, хотя эти самые финно-угоры и стали русскими жителями уже N, просто их крестили. Ну мы вот детьми и не ходили.

Приближался шум большой автострады. После довольно тихих улиц старого города, это шуршание показалось чужеродным. Речной бульвар заканчивался домами-близнецами, как любили строить в семидесятые, и в зиянии между ними возвышалась стелла, на той стороне этой самой эстакады. Но из-за того, что бетонные Кастор и Поллукс находились ко мне ближе, стелла казалась ненатурально маленькой, у меня напрашивалось сравнение с видом на здание МИД.

– А это что за здания?

– Это-то? Вот смотри. Это вот слева горком партии был, мэрия теперь, а это управление районом, у нас же район очень большой, почти сорок сельских поселений. Я кстати там работала одно время, после музея, у нас было что-то вроде отдела Просвещения.

– И чем занимались?

– Да обычно пытались какие-то группы возить по деревням, билеты раздавали на бесплатные концерты в городе, но очень характерно, что на концерты приезжало человек пять, в филармонию, местные учительницы в основном, а в цирк очень многие приехали, почти все билеты, ну с детьми конечно. Тоже такие финно-угоры, очень похожи мы тут все, антропологический тип. Мне сначала обидно было, а потом, уже когда я уволилась, поняла, что ничего не изменить этого, потому что у них жизнь другая, совсем другая. Ну тут вообще сложно говорить, не знаю. С одной стороны у меня второй муж ведь тоже был из деревни, а ведь профессором стал. А тоже жизнь была у него другая, и дрова рубил, и как водится. Захотел – уехал. Так что я вот смотрю иной раз на этих мужиков из всех этих деревень, и думаю: ну чего же вам ещё-то надо, господа хорошие? Мы как-то ездили к одной моей подруге в деревню, тут за семьдесят километров, в принципе-то и не далеко, мы я помню с Андреем снимали квартиру в Можайске, так ещё дальше от города было, ты не был там у нас ведь? Так у неё там брат живёт, всегда, с семьёй, дочки мелкие. В смысле, не под Можайском, а у нас тут, в этом районе. И вот захожу я в туалет... ну у нас ведь в России любят по туалету оценивать, это ясно. А там сам понимаешь, что за туалет. А мне зять на даче поставил такую как бы сказать... гидроаккумулятор, такая синяя бочка, электричество не ест, там внутри резиновый баллон стоит. И полное ощущение городского водопровода. Насос-то стоит и там и там, так у меня на даче есть смеситель как у людей, а он, Женька, из насоса накачивает бочку, а из бочки ковшом наливают в умывальник. Я вот до сих пор не могу понять, почему ему бы так не сделать. У меня зять-то кто? Учитель биологии. Ему как бы и не положено. А тот брат подруги кто? Слесарь местный или может даже технолог. Не хотят просто. Вот этого я понять не могу. И мне-то тяжелее, потому что мне надо каждую осень всю воду сливать, чтобы не лопнул, потом весной промывать, потому что там всё равно остаётся и начинает пахнуть так... И унитаз мы так же точно поставили, конечно, там та же самая яма, но это совсем уже другое.

Мы остановились у проезжей части. Речной бульвар вскарабкивался на этот проспект, и мне стало понятно, что в самом деле это не просто проспект, а некая эстакада, изумительно прямая. Вдоль другой стороны дороги тянулся парк со стеллами и монументами, на другой стороне стояли редкие здания в современном стиле, с огромными окнами и тёмными барельефами.

– Вон, – махнула рукой Валентина Олеговна в сторону помпезного белого сооружения с круглым окном, – это вон и есть Дом торговли. Выглядит конечно не как просто магазин, да? У нас в Лензенском районе построили новый торговый центр, так вот там настоящее уродство, из синих таких панелей построили, выглядит как ангар такой, дёшево. Тут конечно расточительство, мрамор, стекло. Сейчас многие не понимают, что это красиво на самом деле, просто все вот эти внутри деревянные панно всякие, там внутри много дерева, сейчас вызывают тоску, скуку, и кажется, что это как-то некрасиво, в глазах затёрто. А я знакома с человеком, Игорь Сергеевич, который строил его. Обычно есть типовый проект, но у нас построили по его проекту. Я у него в гостях была, он же художник, архитектор, вот настоящая интеллигенция-то, он живёт этим. И мы как-то случайно заговорили про его Дом торговли, и он мне показывал эскизы, так ведь он и панно сам рисовал на тему торговли, там славяне, там рыба, там чего только нет, а мы этого и не видим, никто не замечает, потому что стиль такой, чтобы органично было, природно, модернизм такой, авангард. Я в принципе понимаю, что он хотел сделать, и полупустой этот магазин наверное и задумывался, где вещей мало, но все должны быть как бы произведениями искусства как в музее, такие огромные залы. А сейчас тудаходишь, а там сразу у входа начали перегораживать ларьками, всё-всё завалено дисками, колготками,

и никаких тебе панно, ничего не видно. Наверное, это и правда лучше под музей было отдать, потому что вот мой музей, на Баграмяна, он маленький такой совсем, два этажа, комнаты там, а не залы, покрашены жёлтой краской просто, и когда человек входит, ему сразу скучно становится, как может помнишь иногда в учреждениях бывали такие музейные отделы, просто бывший кабинет, в нём стояла витрина с приказом об образовании учреждения, всякое такое, флаг там какой-нибудь. Скучно в самом деле. А у нас были экспонаты из финно-угорской истории местности, у нас же и тут было большое поселение, там раскопки велись, и ещё за Лензевом были раскопки. Там крюки, топоры, посуда, в болоте очень хорошо сохранилось, и даже целую лошадь нашли. И всё это мы втиснули в две такие комнаты, кроме, конечно, лошади, вот тут стоит витрина с височными кольцами, а тут же рядом с ней розетка такая, и провод прямо по стене идёт. Никакого пиетета ни у кого не было. Я, конечно, старалась возвышенно обо этом, но это в никуда уходило. Жёлтая краска губит всё.

Она вдруг замолчала, то ли не зная, что ещё рассказать, то ли устала. Я оглядывался вокруг, смутно припоминая эти места. В N я был один раз, на похоронах Андрея Николаевича, моего коллеги и друга, супруга Валентины. Мы тогда с вокзала сразу на кладбище, потом были какие-то заминки с автобусом... Дожливый день, пасмурный, всё вокруг было пасмурное, серое, и город, и люди, и обезлиственные деревья, и страна – в целом, со всеми её городками и нищими музеями, обвалившимися куполами, пьянством, талонами. А сейчас я видел живой город, где двести тысяч людей пытаются жить, сводят конца с концами, шикуют, строят, рисуют, работают. День был тихий, солнечный.

Возвращение Гали

– Галь, а сейчас-то ты мне расскажешь в конце-концов, что там у тебя с Москвой-то не заладилось? – мама смотрела на меня притворно равнодушно. Мол, ну я просто так, досажать не буду. Не лезу, как и хотела. И слава богу, ненавижу, когда она лезет. И этот тон, такой... холодный, когда она вот так, тоже ненавижу. Потому что в результате будет доставать постоянно, изо дня в день, по капле. И надо бы выложить, – хотя чего выкладывать? – но я так устала.

– Я ужасно устала, сама понимаешь, три дня в поезде не спавши не евши.

– Почему не евши? Как... – мама посмотрела на плитку, где было пусто и разило чистотой, – почему не спавши...

– Мам, ну это образное выражение, – сказала я, теряя в зевке слово «образное». – Просто устала. – И принялась оттирать слезу.

– Ладно, ладно. Тебе помочь разобраться? Ой, ты лучше иди в ванну, а я пока приготовлю чего-нибудь.

– Да, – только и сказала я, встала и пошла в свою комнату. В смысле... не знаю, моя она ещё или нет.

Мать крикнула с кухни:

– Так что да? Помочь разобраться-то?

– Да не, нет, не надо, я сама...

Всего двадцать минут – и я уже от неё устала. Может, просто раздражение от недосыпа. Проснулась в четыре. Как дура сидела и смотрела на бесконечные ёлки. Ждала, что увижу сначала Шаврино, потом Завьятино почти сразу. После Завьятино опять понеслись ёлки, иногда густо, иногда – с возможностью посмотреть на завьятинские и лысковские дачи: как с домиков, будто прилепившихся друг к другу, спадает уже чернеющий снег, обнажая рубероид. Потом опять ёлки, осточертели. Ёлки и какие-то кусты, много кустов, много ёлок, снова кусты, ёлки, ёлки. Сердце сжалось после Калининской Славы. Состав на скользком склоне начал туго стучать своим нутром, перебегая по стрелкам; за окном, споря с восходящим солнцем, потянулись ещё более унылые задворки города, какие-то гаражи, кладбище, потом – дурацкое низкое здание с зелёными стеклоблоками вместо окон. Всё запущено.

– Вот и приехали, – сказала соседка, севшая вчера вечером. – Ещё минуток десять.

Я молча кивнула и проверила, всё ли собрала. От бессоницы и прочей ерунды, от всего кошмара трёхдневного «путешествия» к родным, блять, истокам, хотелось ревмя реветь, даже руки затряслись. Сначала руки, потом меня всю охватило ощущение дикого холода; когда показались двенадцатизатяжки на Пойме и труба, я крепко сжимала челюсти, чтобы не распустить эту зубную истерику.

Прошёл час, я дома, а всё не отпускает. Хочу закричать, хочу разбить что-нибудь, хочу срать и одновременно блевать. Но вместо этого кричу в кухню:

– Ма, ма, слышь? Я лучше прилягу, ладно? Не могу уже, спать охота дико.

Но не могу заснуть, не могу снова встать с кровати, мне совершенно не знакомой, чтобы задёрнуть шторы, вот почему я не любила эту комнату, это ужасное солнце по утрам прямо в глаза, летом вообще бессмысленно ложиться спать, и в вагоне уже солнце било, и дома на Пойме, протягивающиеся вдоль рельс, перемигивались между собой раскалёнными окнами. А я даже не стала сравнивать этот вид с тем вечером, когда уезжала. Соседка сказала – ладно, пойду к выходу, потом не выпустят. А я наоборот лучше, когда уйдут все. Но что меня торкнуло, не дождалась, хочу выйти скорее, из вагона. Лезу, как дура, и тут же извиняюсь, когда чемоданами давлёю ноги, но меня никто не слышит, им тоже н у ж н о выбраться отсюда, и все мы ненавидим друг друга. А соседка ещё у Шаврино сказала – ну вот, скоро уже и приедем,

надо бы в туалет сходить, пока не закрыли. И почему я не сходила? Почему я не сходила в туалет, да и сейчас терплю, в квартире, хотя лежу в кровати в одних трусах и жмусь? Вывалилась из вагона, закурила, просто с ненавистью закурила, и не стала разглядывать вокзал, мол, ах-ах, как изменился, надо же, часы новые повесили, ух, ни фиги себе, кафе-то какое открыли! Воняет креозотом. Закурила и смотрела на свой вагон, и всё меня раздражало, ну буквально всё, и захотелось в туалет, и даже докурить не смогла, так во рту пересушило. Холод и горечь во рту, господи, хочу орать. Ненавижу все эти вокзалы, поезда ненавижу. Когда я не высыпаясь, у меня сушит кожу и тошнит. Мимо течёт жидкая толпа; теряющийся в ужасе площади женский гнусавый голос объявляет то, что и так понятно, что поезд из Москвы, что на платформе, что на пути. На путепроводе шуршат автомобили.

Потом ко мне стала ходить повариха, это после того, как я бросила мяч, и сама же побежала за ним, и мяч от меня убегал в сторону плотины, а я боялась выйти из двора, в котором эта повариха и живёт, и парни в меня, в спину, тыкали ветками, как бы подталкивая, чтобы я спасла их мяч.

– Галя, Галя, отец звонит. – мама сидела на кровати.

Я внезапно села, не стесняясь голых грудей.

– Какой мяч? – спрашиваю.

– Отец, а не мяч, отец твой. Иди, я сказала, что ты сейчас подойдёшь, трубка.

В квартире уже полумрак, только на кухне свет. Значит, уже вечер, да, срубило меня. Я взяла трубку.

– Алё, доченька?

Да, это правда отец.

– Да, пап, да, приехала... Ой, господи, блин, папа, меня мать сейчас так разбудила, ничего не соображаю. – коверкаю слова хрипом. – Давай я тебе перезвоню, а то я-а-а... господи. Я с поезда даже не умылась, сразу легла.

– А, ну конечно, да, давай. Слушай, я так рад! Приедешь?

– Да я тебе перезвоню через часик, окей?

– Ну давай, давай, отдыхай. Да, через часик, буду тогда ждать, не пойду. Ага?

– Угу...

Я села в кресло и уставилась на индикатор телевизора. Мне вдруг становится тепло и уютно. Мать ничего не изменила, только телевизор новый. Наверное, «Радуга» наконец сгорел. Бандура. А, и стенка новая совсем. И обои новые, но тоже белые, но какие-то дешёвые, с блеском. И выходит, что она вообще тут ремонт делала, одна что ли? Расстилала обои по полу, по газетам, в каких-то трико ползала, забиралась на детский столик мой, с балкона который под рассаду, и клеила. Наверное, тут у многих такие обои, раз она поклеила их, наверное, у Кедровской точно такие. Она жила как раз в одном из старых, брежневских домов на Пойме, рядом с нами. Я снова проезжаю начало города, конец города, вижу эти дома, как их окна отражают восход. Я снова поглядываю украдкой за соседкой, которая, наверное, и уезжала-то на неделю, не больше, к какой-нибудь десятиюродной сестре, какой-нибудь Музе, а теперь смотрит на эти районы как на светопреставление – с ожидавшей радостью. Она может быть родственницей Кедровской, потому и смотрит так, может, она вообще к ним едет. Младшая Кедровская, мать сказала, родила второго, а старшая взяла из детдома и уехала в Новосибирск с мужем. «Мужа, что ли, взяла из детдома?» – я спрашиваю мать, сидя в своей красной московской квартире. «Почему мужа? – она удивляется в трубку. – Нет, ребёнка. Глупости говоришь какие-то. Они не могли долго, ну и вот, а чтобы не было вокруг этого, решили уехать, у него там семья живёт, у мужа-то». Зачем я это вспомнила? Я усиленно вглядывалась в вереницу этих ужасных домов, с кучей балконов, лоджий, каких-то антенн на крышах, и всё представляла, как играла с девками Кедровскими во время больших дружеских застолий. Родители пьяные, а мы носимся по квартире друг за другом, или мы прячемся на центральной полке раскладного стола, в лесе

ног, в сумерках подполья, от Светки, а Алла, закрывая смеющийся полубеззубый рот, показывает на полную женскую ногу, потерявшую туфлю. Мы накладываем в туфлю оливье... Вот и наказание нам – бездетность. Боже мой, и в самом деле, ведь тётя Катя работала в женской консультации медсестрой. А ведь тяжело было Алле, раз взяла, значит, хотела, значит, мучилась, ходила через тётю Катю по врачам, а та сидела и не помнила ни про какое оливье.

– Ма, так Алка и правда взяла ребёнка?

Мать возится с кастрюлями, не слышит, вода сильно гремит в раковине.

– Чо, говоришь, дочь? Алка-то?

– Да, Алка. Ты мне звонила тогда, – я сдираю с кресла покрывальце, чтобы замотаться, лениво распаковывать чемоданы, иду на кухню. – говорила, что она взяла ребёнка, какой-то Новосибирск. Я тогда прослушала. Толком не поняла.

– Ну да, они всё с Владиком мучились, два года по врачам отходили, прямо проклятие какое.

Тётя Катя.

– Ну и? Где взяли-то? В нашем?

– Нет, в областном. Но им сразу дали почти, мальчика дали.

– Да, намучается теперь. Полюбому намучается.

– Почему? – мать на меня изумлённо посмотрела. – Думаешь, ребёнок – это крест что ли такой на всю жизнь?

– Да я не про то... – отмахиваюсь, она уже снова начала меня раздражать. – а что кто знает, как на нём скажется, что его родители неизвестно кто, да ещё и такие, что детей кидают. Может, алкаши или шизики какие.

– Да, вон у меня подруга была с агропроизводства, растили дочь из детдома, такая ласковая была, а потом в восемнадцать родила, а им сказала уже когда в роддом собралась.

– Да, вот на меня свалится море ваших сплетен за десять-то лет... Я уж представляю.

Мать почему-то улыбается. Она думает, меня это радует. Вот, не вышло что-то там в Москве, сюда прибежала, и готова окунуться в ваш чан. Наслушаюсь всласть про разводы и пожары на даче, про свадьбы, буду удивляться «ох ты как выросла-то, боже мой, а я всё представляла, как в школьной форме ходит». «Да, – говорит мать почти мечтательно, – ты сначала отдохни, я сегодня отгулов взяла, походим с тобой по всем, надо бы и к отцу заглянуть, он тебя звал или сам придёт?»

– А? Отец-то? Звал, сказал, чтобы я пришла. А я и не помню, где он живёт-то теперь. Где хоть? Что готовишь?

– Да недалеко от завода он теперь, точно, ты же не знаешь, он свою разменял на две однокомнатные, в одной живёт, другую сдаёт.

– Господи, и тут на этом можно заработать? – ухмыляюсь.

– А почему нет-то? Пять тысяч тоже деньги, не малые, а у него пенсия шесть, ну и выходит туда-сюда тыщ девять на жизнь, я бы с удовольствием.

– А у нас там можно сдать хату и снять где-нибудь в Италии домик на берегу моря. – говорю гордо.

Мать не отвечает. Отворачивается и начинает перемывать посуду. И приказывает мне есть: борщ, потом голубцы, рис, и тортик купила небольшой, пока спала, сбегала в магазин, у нас тут новый открылся, а тот наш переделали под «Пятёрочку». Да я вижу, как она вся изводится любопытством, как ей хочется узнать, что там у меня с Борей, что там с Борей, Боря-то что говорит? А он что? Ага, ага, ну и правильно, а он что? А она тогда что говорит? И так далее в этом же духе, выйдет скучный разговор двух подруг по телефону, я всё равно не здесь сейчас, я в Москве ещё, алло, мам, и словом «мама» я называю старую подругу где-то далеко от меня, не вижу, как она покрывается морщинами, и как спешит на работу, ничего не вижу. Может, через месяц я уже приеду, мам. «А что случилось? Надолго?» – «Да, наверное

навсегда, мам, приеду». Ехала, ехала, все эти ёлки просчитала, а так и не приехала, ничего не понимаю, какие-то обои, какая-то стенка и телевизор, ещё эти антенны и кладбище. И сейчас нам надо сесть в разных концах комнаты, взять сотовые и звонить друг другу, и только тогда смотреть на лица и узнавать их, вспоминать, что мы родные люди. Надо симку местную брать теперь, и все контакты удалять те, боже мой, столько лет копить – и вмиг удалить. Или просто новый купить, чтобы уж сразу. И будем с ней переговариваться прямо отсюда. Я на кресле, в темноте перед выключенным телевизором, она на кухне, звоним: «Мам, привет, ты где?» – «Я на кухне, доченька, готовлю для пирогов к твоему приезду». – «Так я уже приехала, мам, сижу в большой комнате, перед телевизором». – «Ну я так-то знаю, Галь, знаю, что ты приехала, но немного не представляю этого. Ты уехала тогда так внезапно, как ногой топнула, мол, поступлю и всё тут, и уехала, и раз всего-то приезжала, потом звонила редко, и я всё пропустила в твоей жизни, и даже в Москве так и не побывала ни разу в жизни. Как ты на выпускном гуляла, ничего не знаю, свадьба твоя». – «Да не было никакой свадьбы, ты же знаешь. Просто посидели в ресторане, мы же не расписывались с ним. Так гораздо удобнее». – «Да, я уж вижу, как оно удобнее-то вышло». – «Мама, слушай, не начинай, а? Ты расписана была с папой сколько лет, а толку что у меня, что у тебя, мне хоть не пришлось с паспортом никаких заморочек, бегать тут везде доказывать, что я не с Луны свалилась с этой фамилией». – «Да и прям ты будто с Луны свалилась, дочка. Я же всё мечтала съездить в Москву, посмотреть там, на тебя, на Москву, в метро очень хочется покататься, а тут ты теперь сама приехала, хорошо, конечно, но я не знаю даже, как с тобой говорить, Галь, я не знаю тебя, кто ты такая, женщина уже совсем, тебе... уже тридцать. А мне тогда сколько?»

От запахов пищи у меня сжимается кишечник, убегаю в туалет, на ходу скидывая покрывальце. И вдруг на унитазах меня осеняет, что я вернулась к маме. Потому что в туалете мне бешено захотелось курить, и вспомнилось, как я любила курить на унитазах, когда прогуливала школу, когда мать была на смене, и сидела очень гордая, тужилась и затягивалась, потом по часу проветривала квартиру и прыскала лак для волос на обои в уборной. Курила «Палл-Малл», прятала под кроватью. Сейчас я тоже хочу курить, вспоминаю свой неудачный покур на вокзале, но сейчас-то я уже пришла в себя, теперь хочу вечером прийти в кофейню. И нет вокруг ничего, ни одной сигаретки, да и мать конечно не курит, и я в одних трусах. И я представляю, что она на работе, а я курю, и щекотка внизу живота, от волнения перехватывает даже дыхание, я глупо улыбуюсь. Что я такое ела-то? Пирожки эти дурацкие?

На кухне спрашиваю мать, разве не находила она мои сигареты? И конечно находила, но почему же ничего не сказала? Потому что почему-то боялась отца, что он начнёт ругаться на неё саму. И одно время проверяла, как быстро у меня заканчивается пачка; слава богу, не быстро. Я уходила в школу, а она под кровать лезла, считала. Пачка на неделю где-то, это вроде не так много. Рано ты начала, Галя, говорит она, потому и детей у тебя нет.

– Мам, поверь, не поэтому. Да и вообще, закончи этот разговор, я не хочу об этом никак говорить.

– Ладно, – у неё колотится сердце, я чувствую, что она очень разволновалась, я не перестала ощущать её. – Ладно, ты поешь, у тебя сегодня наверное сложный день выдался. Но ты долго спала-то как.

– Так проснулась-то во сколько, знаешь? В четыре утра.

– Наверное, ты совсем не рада приехать?

Теперь она меня совсем уже бесит! Я точно знаю, что я для неё – поджавшая хвост дура, примчалась, сколько лет перезванивались изредка, когда всё шло так успешно, а тут на-те, прибежала. Убралась быстренько из своей замечательной жизни, из своей компании, где носила обтягивающие юбки, от своего замечательного мужа с «тойотой», от поездок на съёмную дачу, от глянцевого журнала в салоне красоты. Теперь сиди тут и не выёбывайся, не доросла ещё. Хочешь со мной поругаться, мам? Я обязательно, да, я хочу сказать тебе многое за всё хорошее,

и конечно я совсем не рада сюда приехать, потому что куда я приехала-то? Домой, что ли? Я десять лет называла домом другие места, и даже съёмная дача на Новой Риге была мне роднее, чем эта квартирка с тобой внутри. Что меня сейчас кольнуло так в уборной? И когда я увидела утром, как на меня двигаются ваши трущобы, то я не от радости так распахивалась, а от бредовости. Я была жутко напугана, что еду в чужое место, как в ссылку, как на каторгу, на рудники, где никогда не буду счастлива. От обиды, что тем вечером распрощалась с вами навсегда, и теперь да, поджала хвост, поджала, и не смогла найти ни одной другой точки на карте этой огромной страны, куда бы могла убежать. Я тогда поглядывала на свой чемодан с книгами, гордая, очень гордая, и родители, махавшие руками на перроне, должны были по моим расчётам как можно скорее сгинуть с поля зрения, надо было бежать в котельную и кидать, кидать, кидать туда угли, чтобы разогнать поезд. Поскорее пошататься по площадям, посидеть у Большого, потом выучить свой путь с пересадкой на Библиотеке, стоять в очередях абитуриентов, и уже с друзьями, под шафе, рассказывать, из какой я таёжной глуши прикатила, какая гордость. Вот как я поджала хвост, не надо мне тыкать этим, пожалуйста...

– Ничего, ничего, обвыкнешься, я думаю, – говорит мать, накладывая мне борщ, – десять лет – большой срок, но ничего, Галь, потом всё уладится, я знаю.

– Ничего не уладится, я уже здесь не могу.

– Ты мне-то хоть рада?

– Тебе – рада, – солгала я, – но ты не представляешь, что у меня было там и что будет здесь.

Я накинулась на борщ, цвет которого напоминал мне цвет стен в той моей квартире. Надо непременно перекрасить стены в комнате на такой же. Потом я закончу тем, что наклею в окно витраж с таким же видом, чтобы виднелись новостройки в Тушино.

– И где я буду работать? –жимаю плечами. – На заводе что ли вкалывать? Ну наверное, конечно, где же ещё, у вас тут и негде больше толком-то.

– Галя, – мать строго говорит мне. – Ты прекрати наконец, я ни в чём не виновата, понятно тебе? Почему ты мне тут выговариваешь всё это?

– Да я не выговариваю, просто меня тут всё бесит, всё просто бесит. И твой борщ бесит!

Я кидаю ложку, в тарелку, брызги на лицо мамы. Ухожу, долго роюсь в сумке, ищу сигареты, иду на балкон, который ещё папа стеклил, и зажигалка не работает, сажусь на детский стульчик, плачу. Мама подходит, стучит в стекло. – Галя, Галя, прости меня пожалуйста,пусти меня, Галя. Галя!

– Галя!

Не отвечаю.

Уже успокаиваюсь.

– Мама, принеси мне спички с кухни.

Дверь на балкон, когда открывается, очень резко вибрирует, так всегда было, потому что туго сидит в проёме. Кажется, что вот-вот рассыпется. Мать стоит теперь рядом, смотрит на меня, а я – на Луну, которая в этот мартовский вечер необыкновенно хороша.

– Завыть, что ли? – я улыбаюсь матери. – Я хочу завыть на Луну.

– Галя, не смей меня, ты вроде расстроена.

– Да ты что?

– Не шути так. Это не шутки.

– В том вся и проблема... А чего я тут разревелась?

– Потому что вернулась домой, где долго не была. У тебя не было дома, а теперь есть. Я твой дом, Галенька.

– Не смей меня, мы друг друга теперь не знаем, мы чужие.

– Ну прекрати уже эту глупость говорить, не зли меня. Как чужие-то? Почему чужие?

И она долго и нудно мне трещит, как ждала звонков, как сама боялась позвонить, и как свечки ставила, и рассказывала девкам на работе, какая я успешная, и я представила какой-то алтарь в мою честь, где в центре – моя фотография, а вокруг свечки, кольца и браслеты. И всем очень нравились её рассказы, и Алка всё спрашивала, что да как, мы подружками были, а я так вдруг уехала, а хотели с ней вместе поступать в Индустриальный, а я вот как – захотела по Москве гулять! И что Алка так рада была, что поступила, а сама тогда провалила в который раз, зато уж потом с красным закончила, её сразу взяли в Управление через дядю Серёжу. А помнишь, кстати, как вы тёте Кате винегрета навалили в туфли? И не винегрет, мама, а оливье. – Нет, винегрет, я точно помню, потому что она так и не оттерла красноту изнутри. – Да как винегрет-то, ты что? Я точно помню, что оливье, серый такой. – Ну, я не знаю, почему ты так думаешь, вы маленькие были, это уже двадцать лет прошло. Но я точно помню, что винегрет, что пятна были, она говорила, что от свёклы. – Странно, я всю жизнь думала, что оливье... А она вообще бывает здесь? – Конечно, через два месяца всегда приезжает. – Надо будет увидаться бы с ней, я перед ней виноватой себя чувствую. – Почему виноватой? – Ну мы ведь мечтали-мечтали, готовились вместе, на курсы ходили, а я ей даже ничего и не сказала, уехала. – Вы просто тогда повздорили из-за чего-то, ты психанула, ты же назло ей уехала.

– Господи, мама, точно! – у меня всё сжимается в груди от ужаса, от волнения. Встреча с прошлым произошла так неожиданно, я чувствую себя облитой ведром колодезной воды. – Мы с ней поссорились, я хлопнула дверью... И знаешь, из-за чего? Нет? – я смеюсь, хохочу. – Из-за платья на будущем выпускном. И я тогда сказала себе, не ей, что раз так, то выпускные у нас будут разные. Ну так и вышло. А ты говоришь, не поступила? Значит, и так бы разные были. Или может она из-за меня провалила. Бросила подруга. Всё равно надо повиниться, не могу я так, столько лет держу это в себе.

Я закашлялась, стало прохладно, мы уходим в большую комнату. Я расспрашиваю о ремонте, о новом телевизоре, говорю, что хочу переклеить в своей комнате стены. Потом мы молча едим апельсины и смотрим новости по Первому каналу. Оказывается, у мамы кабельное. Я снова ухожу курить, но после апельсина дым во рту даёт мерзкий привкус. Кутаясь в покрывальце с кресла, я выглядываю в окошко, смотрю на двор, погрязший в смеси грязных луж и снега, на огромное количество автомобилей, оставленных здесь на ночь; я вижу свет в квартирах, у подъезда тусовка салаг, скольжу взглядом по крыше детского сада, в который я, правда, не ходила, мы тогда не здесь жили; потом вижу Алкин дом, огромный, привычный такой, но тогда у меня было нормальное зрение, я могла со своего балкона видеть их балкон, а иногда мы брали бинокли и, разглядывая друг друга, говорили по телефону. И нет теперь никакой Аллы, и когда приедет, через два месяца, может, всё равно не будет никакой Аллы. Лучшая моя эпоха – не здесь, здесь зияет дыра. Мама, не обижайся, я не буду здесь счастлива, никогда больше не буду, я всё потеряла там, и здесь ничего не найду.

– Галь, посиди со мной, а? – мама подбирает ноги на диване.

Моника была неподражаема

Среди хлама забытых, ненужных вещей, отражаясь за плотным пылью на стекле, Ив сидит на полу, глупо хихикая над собой. Он слышит голоса Септимуса – птицы пели на греческом. Бормочет старый эвкалипт, шуршат мыши в углах. Моника шептала ему на ухо: «Всё уже позади, мой милый, вам теперь нечего бояться». Темнота. Беззвучье. Ив неожиданно опомнился, слова Моника показались фальшивыми. Нечего бояться! Как же! Лжёт она ему, эта Моника. Откуда она вообще взялась? Выплыла из яркого проёма двери, держа между пальцами сигаретку. Не далее чем вчера они видели её на вилле Мистерий, в свете рампы. Она, оголённая, с покорным выражением лица, медленно тлея под пеплом, но вдруг вскидывала нервное своё тело и, лязгая зубами, словно кусая стены, кричала «Ещё! Ещё пепла!» Закатывала глаза так убедительно, пускала слюну, билась в лихорадке невероятного экстаза. Стефан сидел в своём обычном кресле и, раскуривая сигару, смеялся: «Мои детки хорошие! Мои пьяные детки! Ну, где ещё я мог бы так веселиться?» Моника – всего лишь шлюха, которую она, то есть Антоньета, подцепила где-то в Питере. «Ах, она такая артистичная натура, такая эксцентричная, дикая Голайтли». Порочная девчонка, сасона, и где она берёт столько марихуаны? В каждом ящичке стола, среди кассет, даже в завалах колготок лежит по пакету. Это же уйма денег! Да ещё Стефан, изображая из себя иностранца (как же его настоящее имя?), изливает милосердие: «Я вообще склонён помогать саплутшим офечкам». Нет, трясёт головой Ив, теперь от прошлого уюта их – Ива и Стефана – одинокого житья не осталось и следа. В одном углу – Моника, уже обкуренная с обеда, в объятиях Антоньеты, в другом – Стефан со вчерашней сигарой в зубах, с Пипи на коленях. Значит, Пипи не ушёл... Ив не находит себе места, ищет, куда можно было бы сесть, но всё ему кажется занятым или просто захламлённым. Сказать тоже ничего не может, вот и мечется по комнате, делая вид, что потерял... э-э... потерял что-то. «Может тебе, мой мальчик, – гогочет Стефан, – нужны деньги?» «Конечно нужны, – раскрывает глаза Ив, решив уцепиться за возможность, – просто вот так». Проводит рукой под подбородком. «Среди хлама забытых, ненужных вещей... – думает он, пристально наблюдая, как тонкие губы Стефана двигаются, перебирая тихие цифры. – Опять нарисовал денег? Надеюсь хоть реалистично? Впрочем, всё равно... вещей... Почему так складно – среди хлама забытых, ненужных вещей – а рифму дальше придумать не хватает сил?» – «Две тысяч хватит?» – «За что?.. э-э... на что?» Ив не понимает, почему именно две, ведь он не называл сумму, к тому же просто думал сбегать до сигаретного ларька. «Три? – взрывается хохотом со слюной Стефан и переглядывается с Пипи. – Юноша, да вы обарзели!» Две тысячи – как раз, тем более что сигареты стоят от силы доллар. «Иви у нас – настоящий поэт, – говорит Стефан Пипи, смотря Иву в глаза тем самым взглядом, в котором никогда не прочтёшь ничего, кроме усмешки. – Ему постоянно нужны деньги». «Так он пишет стихи? – изумляется Пипи, вглядываясь в ту часть тела Ива, которая никогда не сможет ответить. – Должно быть, у него огромный талант». – «Ну-у это как сказать... По крайней мере не такой большой, как у тебя, *ma belle*». Оба они смеются, но дым стефановой сигары отгораживает поэта, продолжающего стоять рядом, от их кривляющихся лиц. «Так пишет или не пишет?» – не унимается Пипи. «Представь, лапочка, пишет, ещё как пишет... Ну-кась, Ивёночек, срази нас своей новой поэзией». И вот среди хлама забытых, ненужных вещей, среди стонов и боли перегревшихся щей... «Нет, я не готов, господа, – говорит Ив, – к тому же вы сейчас смеётесь надо мной – я понял». Пипи даже плачет от смеха. «Зачем вам мои стихи? Моё лучшее – я ухожу». Ив краснеет и отступает назад, в бреду обиды замечая периферийным зрением копошение ярко-оранжевых резин в углу – Моника и Антоньета, освещённые солнцем. Гигантские коричневые сосцы игриво подрагивают надо ртом Моника «уси-пуси, не поймашь, не поймашь...» «Сёстры мои! – ревёт в их стору Стефан. – Зачем же смущать нашего поэта? Посмотрите, как он покраснел». – «А чего же

он тогда уставился? – приподнимает пышную ярко-белую голову Моника (Пипи закашлялся). – Ведь ему же всё равно, да?» «Да ладно смотрит, – добавляет она хрипло, – так у него ещё и стоит. Стоит! Смотри, Антоньета!» Ив бегло щупает рукой, испугавшись, но ничего особенного не замечает. «Стоит, стоит, я говорю!» – «Мон, да у тебя нешуточные глюки». – «Парень, иди лучше развейся на улочку, а то эти потаскухи тебя задолбят». – «Спасибо за потаскуху!» – «Я сказал «потаскухи», уши мойте». – «*Che pizza quell'uomo*». – «*Oh, questa e'nuova!*» Ив выбегает из квартиры в подъезд как угорелый. Останавливается этажом ниже, прижимается ухом к гладкой крашеной стене. Шипит, озвучивая остужение. Сползает вниз по стене, зажав руки между коленей. «И что я здесь буду делать?» Прохлада подъезда обманчива. Что же на улице? Ив выглядывает в окно около мусоропровода. Пыльная жара сухого лета, обезвоженные пiski песочных деток, пластмассовые кубики и лопатки. Иви вспоминает пьяного Стефана в недавнюю холодную ночь четверга: «Слышь, какой грибок! Не хуёвый грибок!». Он тогда прислонился к железному огромному ржаво-чёрному мухомору и деловито заливал мочой песочницу. Его просто распирало при одном взгляде на гриб. Ив сам не знает, как в его жизни появился Стефан, как поселил его у себя, напичкав феерическими таблеточками. Однажды утром Стефан (ещё не было ни Руфь, ни Антоньеты, ни Моника) вошёл в спальню с подносом и закричал, умилившись при виде потягивающегося Ива: «Маха! Маха обнажённая! Ты ли?» Ив сплетал мелкие арабески рифм, весело струящихся из мартовского окна вместе с трелью птиц. Крик Стефана повторно разбудил его, и он задвигался было, но задохнулся и умер... и более не воскресал. До сегодняшнего дня. Где-то оборвали божественную колоратуру, силой рук вакханки Моника и её прислужника Пипи рванули струны, и те закрутились в жёсткие спирали, печально тренькнув на прощание «тяу-н». Сырая постель в детской потекла, сливаются простыни через края, горячая страшная влага. И теперь везде это «тяу-н», осталось с того утра, грозящего казнью. Такой сон небывалый: бешеный испанец ломает гитару, расклеившуюся от влаги. В этой жаре яркого московского двора, визжащего до нелепости счастливыми детьми, образы валяются чудовищными комьями, спонтанные звуки сюсюкают *pizzicato*. Невозможно дышать, пот льёт градом, подкашиваются ноги. Мелкая пудра осела на губах, на глазах, в горле застрял песок («Лови его, Серый, щас мы его закопаем» – «Парни, я же сейчас...!», а потом чёрная от горя женщина, крутя шарнирным телом, сдирала обкусанными руками кожу с лица, как только поняла, со слов смущённых мальчишек, – в том числе и Ива, – и лейтенанта, что её сын уже умер, наглотавшись камней из кучи; труп – твёрдый предмет – палка или шляпа? со вздувшимся горлом – змея съела слона). И, наверное, никто и не вспомнит. «Кто? Ив Монтан? Хороший актёр». Зачем им он, Ив-Женя-поэт... Или, например, пчела. Жалость пчелы – Ив показывает бревенчатую ногу Стефану «я сдохну сейчас, понимаешь?» И ни копейки не получит назад, всё равно деньги нарисованные. А если он опомнится? Опомнится только ли из-за денег или найдёт местечко для интимного пафоса? Может, и скажет Стефан Антоньете: «Глянь, как там наш *le petit prince poétique*» (и говорит). Моника надрыгается, загибаясь от смеха. Она уже всем надоела своей бесконечной болтовнёй. Стефан смущён упорством «артистичной натуры», доказывающей с пеной у рта, – трубы горят, – что Ив больше никогда не вернётся. Постоит-постоит немного у подъезда, послушает, а потом уйдёт навсегда, и даже не вспомнит, что оставил в этом притоне массу одежды, ведь вся эта одежда не куплена им, поэтому и принадлежит не ему, поэту Иву, а Иву-любовнику Стефана, задаривавшего его краденными шмотками, марихуаной и даровой спермой, сочившейся что ни день, то через час, и любой нормальный человек не стал бы терпеть рядом неизвестно откуда взявшегося придурка с идиотским именем Пипи (а имя ли это, или ласковая кличка за размеры, так понравившиеся Стефану, увидевшему в голодных глазках мальчишки недюжинную энергию и чувственность?), а чем же хуже Ив, талантливый и нежный, насмеялись над ним, свиньи, трахались у него не глазами, пускали дым в глаза, мол, поэзию-то новую нам почитай! Стефан, посеревший, кусает губу, и уже не замечает Пипи, пьяно распластавшегося на диване рядом.

«Замолчи, дура! – кричит он. – Сам знаю. Ты думаешь, всё так просто? Надо же как-то приносить разнообразие! Может, мне надоели все эти ранимые и нежные поэты: от них никакого толку ни в постели – у них комплексы, ни в жизни – у них страхи». Моника прыснула, но продолжает презрительно смотреть на Стефана, отводящего взгляд. Она подходит к нему, седлает ногу и начинает двигаться, тереться клитором о выпирающий из-под брюк сустав. «Ты же сохнешь по нему, Стеф. Я же знаю, на сколько процентов права, угу-угу, – срываясь с фальцета на шёпот, говорит она. Пипи отворачивается. – Мне ли этого не видеть?». Стефан ловит её мутный взгляд в тиски стальных зрачков. «А ты думаешь, он ещё не ушёл?» – спрашивает он. «Нет, насколько я его знаю». – «Только что ты говорила обратное». – «Может быть. Должна же я была говорить хоть что-нибудь. К тому же это не имеет значения. Иди, догони его... да подожди ж ты, придурочный, дай мне время, чтобы кончить...» – «Ты совсем скурилась, лапочка, ты даже не понимаешь, что делаешь». «Вот ещё нужно – понимать! – смеётся Моника. – Зачем же понимать, когда так хорошо? Это ты можешь тратить время на размышления, у вас с Ивочкой его предостаточно, а у меня этого времени нет, сечёшь? Моя жизнь может оборваться в любую секунду, да и вообще она так коротка по сравнению с тем, что я бы для себя пожелала, так что я не собираюсь провести половину отпущенного мне мига на обдумывание другой половины». – «Моника, говори, лапочка, помедленнее, я тебя не понимаю». – «А о чём я говорила?» – «Об Иве». – «Что? Ах, да, о поэте... Кстати, он что – Монтан sous le ciel de Paris? Так вот, Ив – талантливый и нежный, насмеялись над ним, свиньи, трахались у него не глазах, пускали...» – «Сами и трахались, паршивые лесбиянки». – «А кто и паршивый! Пидор несчастный...» Вот и Пипи уже пропал, собрал быстро одежду и пропал. „Наверное, унёс твой бумажник, – опять хохочет Моника. – Проверь, «лапочка», всё ли на месте“. „Да и чёрт бы с ним, – отмахивается рукой Стефан. – У меня не один бумажник“. – „Вот за это я тебя и люблю... Слушай, мерзавец, да ведь ты просто идеальный мужчина, ангел. И бумажник-то у него не один, и не трахнет меня никогда, не сунет свой сухой серый член мне за щеку, но толково расскажет о... о-о... Ну? Ну-у, о всяких умниках. И вообще жизнь с тобой – райская жизнь. Не об этом ли я мечтала? А всё предельно просто, Моника: лишь найди богатого пидараса“. – „А ты не боишься, что я могу тебя выбросить на улицу?“. Моника на секунду задумалась, тучи сбегались и залили кислотой её и без того рваное платье, „убирайся отсюда, шлюха“ – Стефан сверху. „Нет, не боюсь, – уверенно говорит она. – И никакого дождя не будет, никакого рваного платья, ты не будешь кричать из окна. Если я и уйду, то сама и после того, как вопрос об этом повиснет в воздухе, Стеф, и все будут об него спотыкаться, да? Я знаю, конечно, что долго ты меня терпеть не будешь, ты... как ты говоришь? Для разнообразия однажды скажешь мне «Давай-ка, подруга, курнём вместе последний раз и расстанемся», да, Стеф? И я уйду, и буду также смеяться – ты специально накачаешь меня травой, чтобы я не вздумала устроить истерику, да? Буду всю жизнь вспоминать чудного Стефана, или как там, чёрт тебя дери, твоё настоящее имя? Но если я уйду прямо сейчас – не важно, почему – ты будешь скучать и искать меня, пока не выдернешь за волосы из-под стола в какой-нибудь дыре. Так ты живёшь – «всему своё время, но время-то тикает»“. Стефан задумчиво улыбается, смотря через Моника на картину напротив. А она здорово его раскусила, эта артистка. Антоньета была права, когда говорила о ней в возвышенных тонах, расписывая её пронительность и ум. А это её „Ещё, ещё пепла!“, когда на вилле Мистерий началось светопредставление. Да, вчера было счастье и веселье, и немалая заслуга в этом Моника – Моника была неподражаема. Хохот Вакха с кухни, шлепки тел, вонь и дым, пепел, оружие вакханки. Полная неразбериха. Даже Ив смеялся, оставив где-то в прошлом свой надломленный, измождённый взгляд, и губы его не перебирали „среди хлама забытых, ненужных вещей ты меня обними, ты меня обогрей“ или „на печальных руинах приморских Помпей“, или ещё лучше: „На руинах печальных приморских Помпей“. „Ты думаешь, – обращается Стефан к Монике, – восседающей на его ноге дикой амазонке с сигаретой в зубах, – Он ещё не ушёл?“. Теперь

мнение Моники для Стефана – закон. Он бы не позволил ей уйти сейчас. „Нет, если я его правильно поняла. Наверное, сидит у подъезда, курит, ждёт, пока кто-нибудь не крикнет ему «Иви, лапочка, марш домой, Стефи соскучилась по тебе». Да не смейся ты так, я сейчас вообще могу задохнуться, я же наркоманка, ты меня знаешь целую неделю, я выдула в одну харю за сегодня полпакета (сечёшь?), да рассыпала по углам не меньше ещё, хахала только так – ха-ха-ха – не удержали, да ещё Антоньета со своей жужжалкой пристала ко мне, «давай я тебя сейчас отымею», уж не знаю, чего ей ты там навнушал. Я бы хотела посмотреть, как она бы подступилась ко мне! Я в училище одному пацану, подвалил как-то с тем же, так мозги промыла! А если бы вы кинулись спасать меня? Ха-ха-ха-ха-ха! Когда она будет опять виться вокруг меня резиновой мухой, а? Вообще, Стефан, глянь – пластилиновые руки!“ Опять у неё поток... Стефан не может понять, о чём ему говорит разбушевавшаяся Моника; жмурится, пытаясь отогнать от себя дьявола, хлещущего кожей, но снова видит хитрую Моника, с видом прожжённой, капризной и вечно недовольной королевы курящую самую вонючую сигаретку, удерживая её маленькими-маленькими ручками. Страсть арены, интриги двора, шуршащее оголение ножек в темноте будуара! Блевали с балкона, посылая кошмарными голосами нежные приветы в преисподнюю. Моника с наслаждением представляет, как резко и некультурно вводит реторту, раскалённую от ненависти, в прямую кишку Руфь. Глаза сужены, конвульсии стефановой ноги. Ух, Руфь, драная сучка, смотрящая через дыру в трусах на Кремль! Salope... Стефан чешет кадык. Моника ли это? А вчера танцевала, и совала пальчик в рот, кружилась у воображаемого столба, постепенно обнажаясь и выводя Ива из терпения. Ив закричал (как живо, Ив, как несдержанно, Ив, как удачно!): „Кончай уже, salope! Sei stata fantastica, Monica!“. Антоньета валялась в углу, безнадежно хихикая, а Пипи доедал остатки ужина на кухне, бедный ребёнок... Совратил его Стефан, измучил... Ив, конечно, и вида не подал, увидев Пипи, – такой скрытый. Непостижима душа его за жёсткой бронёй („Обломал об него зубки, Стефан“, – склонилась к уху Моника). Нет, чтобы раскричаться, затопать ногами, покраснеть: „Стефан, кто этот лох? Зачем ты привёл эту девку сюда? Зачем она нам?! Уведи это!“ Стефан ждал целого букета экспрессии, необычайно поэтического взрыва ревности, хотел, чтобы Ив, выкрикнув Пипи „Ora ti sistema io!“, разделся и кинулся на явленного гостя с кулаками, как в дешёвой похотливой гей-истории („и члены их соприкасались...“). Увы... Ив даже бровью не повёл: только и кивнул «Salut», скрывшись тут же на кухне. А Пипи сразу соорудил из себя хозяина и, совершенно не надеясь на упрёки, принялся рыться в шкафчике над раковиной в ванной. Он говорил оттуда бодро: «...и что ты думаешь? Она позвонила ему и сказала, чтобы он забирал меня, да таким тоном, что в газетах её мысли никогда не напечатают...» Стефан с трудом припомнил, как и с чего начался этот разговор, который продолжен был Пипи под шум воды из крана. Его больше занимало не то, как обошлась с ним тётушка, а то преобразование голоса Пипи, что неприятно поразило в первые секунды: в нём, благодаря отражению стен и привычных уже тряпок Антоньеты, висевших на трубе, появились те призвуки и тембры, что сблизжали его с голосами остальных квартирантов. Стефан продрал глаза и вздрогнул, словно только что осознал факт присутствия нового жильца, которого подселили, перешагнув через незакрытые обиды. Он замахал руками, жестикулируя Иву, вошедшему с банкой «трофи» в комнату. «А мне-то хоть на год», – ответил слишком громко, слишком спокойно Ив, включая телевизор. Солнце ярко осветило пыль на экране, и бегущие люди стали бледными призраками. Стефан разозлился, всплеснув руками, и выкрутил звук. Он хотел было поведать о своём сострадании к беснующейся душе ребёнка, ищущего себя, но тот сам вышел из ванной, умытый и причёсанный. «Я нашёл у тебя в шкафчике лосьон от прыщей, – легко, словно извиняясь, сказал Пипи. – Можно?». «Конечно», – неожиданно резко ответил Ив из кресла, даже не повернувшись. Пипи замер, вглядываясь в Стефана, не зная, что добавить. Нереальность ситуации была очевидной, поэтому пришлось спросить у уха Стефана: «А-а... этот... надолго ещё?» Что-то щёлкнуло в комнате, незаметное для Пипи, давая зашифрованный сигнал, и вдруг и Сте-

фан и Ив принялись хохотать, схватившись за животы, хотя Пипи мог бы поклясться, что они не сговаривались и даже не смотрели друг на друга. Он стоял в стороне, чувствуя свою ненужность. «Что?» – с куриной безнадёжностью спрашивал, наблюдая двух странных клоунов. Смех пугал его, и, хотя веселье было достаточно громким, Пипи ощущал себя опрокинутым в глухой парафин. Немые разговоры телегероев усиливали драматизм. Смех превращался в навязчивое стаккато, также внезапно оборвавшееся Стефаном, серьёзно сказавшим: «Надеюсь, навсегда». Пипи опустил глаза и нервненько покачал головой, окончательно сбитый с толку. «Но это ещё не все сюрпризы, – отозвался Ив, скрытый высокой спинкой кресла. – Антоньета!» Из-за двери раздался скрип матраца и чей-то недовольный стон: «Ну, что опять?» – «Выгляни на секундочку, лапочка, – попросил Стефан, – у нас ещё один член в семье появился». Дверь пискнула, и в образовавшемся проёме показалась голая грудь. Это была Антоньета. Она вялой рукой зачесала волосы с лица на затылок (у неё всегда получалось строить из себя сонную тетерю, чтобы избежать ответственности), а затем сфокусировала внимание на Пипи, смотревшего, выпучив глаза. «О, Стефи, да это же совсем ребёночек... или ты уже порвал его?» Ив чуть не выкрикнул «молодец», тихо хрюкнув от восторга. Он уже выключил телевизор и теперь смотрел за происходящим в комнате, отражённой чёрным зеркалом экрана. Почти монохромная картинка с искажёнными пропорциями фигур, растянутыми по кинескопу, казалась ему интересней. Фигуры вытягивались в длинные пластмассовые нити, перегибались в суставах, спадали. Однажды Стефан сказал: «Ну и вониючки же мы». Тогда все смеялись, хотя ничего весёлого в этой фразе Ив сейчас, сидя на скамейке у подъезда (как и сказала Моника), не находил. Он действительно курит и, скосив глаза, читает серебристые буквы у самого фильтра сигареты. Хорошая фраза, меткая, по-детски наивная. Писали бы такие слова на сигаретах. Курили бы и читали: «Ну и вониючки же мы», «Жизнь абсурдна», «Неужели я так умён?», «Это моя болезнь» и – «Скоро все сдохнут». На каждой сигарете. Все, кто курит, об этом знают, а кто нет – лицемерят. Руфь всех страшила (дура): «Вы умрёте». Стрелочница. Чтобы говорили об этом твёрдо, без прикрас, без того жеманства и манерности, с которой Стефан, сидевший в автомобиле, говорил злившемуся Иву, выбежавшему: «Ну, юный бог, зачем же так обижаться на хорошего Стефана?» Хороший Стефан (без жеманства)! Уважаемый Стефан (без лести)! Святой Стефан (совсем уверенно)! Тоже всё скрывает, никто никогда не поймёт, чего же он хочет. Расплывчатый Стефан! Все от него рано или поздно сбегают, как крысы, почувствовавшие, что корабль-то тонет. Великий Стефан! Что он будет делать один? Для кого будет играть в théâtre? Его же никто не знает. «Меня никто не знает». А как его имя? Да кто, в самом деле, он? Конечно же, он никакой не Стефан. Может, Ваня?

Это совсем смешно... Он сам декорация, поэтому и не скажешь никогда определённо, кто же он. Ага, вот и Пипи от него сбежал. Хлопнул парадной дверью (тоже мне, парадная дверь!), плюнул куда-то вверх, где – неопределённо – находится Стефан (а Стефан ли?). Дверь-то тяжёлая, железная, с трупом кодового замка. Ещё пару раз похлопала, пока не сдохла. Сейчас Пипи зайдёт за угол дома и исчезнет. Может, его грузовик собьёт? Впрочем, это не важно. Тоже непонятно, что он такое – под стать Стефану. «Пипи! – кричит Ив. – Как тебя зовут?» Пипи останавливается (маленькая у него попка), оглядывается. Мальчик Ив – вот ведь рай для сбыта поддельных документов. Его выгнал Стефан, заплатив по счёту. Поэт, что ли... Стихи писал Стефану, а тот его выгнал. А говорили, навсегда. И смеялись ещё! Поэзия! Чёрта с два сдались Стефану поэзия, ангельское милосердие, всепонимание и прочие богемные уловки. Может, он Сидор? Новая легенда, где ни слова о деревенском детстве? Так он и Пипи к себе завлёт, грязный скот: «Бедняжку выгнали родственнички, бедный дурашка... Та же история. Пока мне не помогли. Поедем же ко мне, у меня дом с широкими дверями». И не дом, а настоящий притон. В одном углу – пьяные лесбиянки, на диване – «поэт», в кресле (таких кресел с высокими готическими спинками не существует) – «Стефан», король, клубный завсегдатай. А по углам рассыпана марихуана, причём в таком количестве, что если случится пожар – надежда умирает

последней – вся Москва будет смотреть мультики, хихикая. А сколько людей вообще побывало здесь, пройдя сквозь широкие двери? Спросите у Ива, тушащего окурочек о скамейку, на которой он сидит. Странные молодые люди со стеклянными глазами (часто оказывалось, что это просто манекены, сбежавшие из витрин; их наутро приходилось растаскивать по магазинам, хорошо, если при них были бирки), спившиеся актрисы, толстые модели (говорившие, что мода на них возвращается), литераторы-«негры», любопытствующие иностранцы (был как-то один студент-итальянец, любовник друга Стефана – ему хотелось познакомиться со знаменитым Стефаном; он прожил месяц, заразив всех своим языком, и уехал домой). Бывали асексуальные провинциальные студенты, фригидные лесбиянки. Монику привела Антоньета, Антоньету – King (грязный музыкантишка), King'a – Henry, Henry – Руфь (несчастливая клептоманка). Приходили и уходили. Почему же Ив целый год здесь? Но и он собрался. «Так как тебя зовут? – добивается Ив. – Не бойся меня. Пипи стоит молча и не двигается. – Ты что, глухой?» Не слышит. Стоит, не шелохнувшись. Ясный взгляд нарисованных глаз, глянец на щеках... «Ну неужели и этот – манекен? – пронзает Ива догадка. Он подходит к Пипи. – Где же Стефан их берёт?» Он трогает боязливо застывшего Пипи за руку и убеждается (переведя дыхание), что перед ним – обыкновенная, хотя и предельно натуралистичная кукла. А тут ещё Антоньета выбегает босая из подъезда: «Стефан психует, он не хочет видеть этого негодяя Пипи, он требует вернуть тебя, Ивёночек. Говорит мне «Антоньета, лапочка, сбегай за Ивом вниз, я хочу вернуть его и помириться, а Пипи мне уже не нужен». Иви, ступай к нему, и я помогу тебе выгнать Пипи». – «А Пипи уже давно здесь». – «Как? Я что же, так долго ходила?» – «Посмотри на него и зови быстрее Стефана. Пипи тоже оказался манекеном». Антоньета только охнула в ответ и пустилась бежать обратно, крича «Стеф! Стефи! Скорее вниз! Там манекен!» И откуда он берёт их? Всё время мозги пудрит: говорит, что привёл весёлого паренька, а тот оказывается – и это после всего-то – куклой, глаза хлоп-хлоп, руки отваливаются. «Ай, Стефан, – кричит она хлопотливо, ворвавшись в комнату, – c'e da diventare matti, Stefano, hai fatto un bel lavoro! Там внизу ещё один манекен, вместо Пипи, манекен, Стефано!» – «E allora?» – «Тебя Ив зовёт вниз, он так и сказал мне «Антоньета, Пипи превратился в манекен, ты посмотри на него и fa'una volata a casa за Стефаном – пусть он спустится вниз». Именно так и сказал Антоньете! Ну, что же ты, Стефано, сидишь и смотришь на меня?.. Давай, беги к нему!» Стефан смотрит недоверчиво на неё, Моника мотает головой... мотает головой... мотает головой. «Стефан! Что всё это значит?» – спрашивает она, косо смотря на Антоньету. Сумасшедший дом! «О, дом сумасшедших! – плачет, грохнувшись на колени, Антоньета. – Куда я попала?! Стефано, я ухожу от тебя! Это невыносимо, Стефано! Моника, Моника, не вздумай идти за мной, Моника, не оставляй Стефано!» Антоньета, провожаемая удивлённым взглядом Моника, исчезает в спальне. Оттуда слышны её всхлипы, по мягким хлопкам становится понятно, что она собирает свои вещи. Это и многочисленные трусы («У каждой порядочной девушки, – говаривала Антоньета, – должна быть масса китайских трусов»), юбки, бюстгалтеры, чулки, блузки, туфельки... «Что она делает? – шепчет Моника. – Надо остановить её». Стефан качает головой. Он не двигается, прислушиваясь к тому, что себе под нос говорит Антоньета. Антоньета собирается уйти. Оставит эту квартиру навсегда, никогда более не вернётся. «Вызовите мне такси», – жалобно просит она, появившись в комнате. У неё в руках два огромных чемодана, а за спиной – сложенный кринолин, от чего кажется, что Антоньета – парашютистка, летящая над Парижем. «Кто-нибудь, вызовите мне такси», – повторяет она ещё более жалобно. «Я уезжаю к себе, к маме». Стефан и Моника смотрят на неё, но не двигаются. Антоньета укоризненно, с безнадёжностью цокает и выходит из комнаты. Вот и нет Антоньеты. Пусто. Моника продолжает смотреть туда, где только что стояла её любовница. Но там лишь пустота. Впрочем, эта пустота, о которой можно было бы написать книгу, появилась не потому, что является неизбежной заменой Антоньете, а потому, что Антоньета предупредила их о приходе пустоты. Разве кто-то будет скучать об Антоньете? Если бы она не сказала про такси и не цокнула?.. Она была

такой... нефактурной. Стефан берёт Монику за подбородок, очнувшись (Моника уже сидит у его ног на полу): «Ну, скажи же что-нибудь, лапочка». – «Что?» – «Ну... например, что ты думаешь об Антоньете? О её уходе? Или... что она была такое?» – «Как это? Я не понимаю». – «Нннну... гм... кто она? Какая у неё национальность, иииилллиии образование... иллиии там...? ... религия?» – «Я не помню. Она ничего не говорила об этом... да и мне было неинтересно». «Хм... – отворачивается Стефан, отдергивая руку. – Ей неинтересно. Вот как... Ааа-а скажи: у тебя не было интереса или она была неинтересной?» «А без разницы, – качает головой Моника, – это не важно. По крайней мере мне». – «Хм. Хм... то есть ты даже не можешь сказать, какого Антоньета пола?» – «Мне это было безразлично. Мне было хорошо. А и в самом деле, Стефан, какой мне прок от того, что я буду знать, от чего мне хорошо? Было весело – разве этого мало?» Стефан поморщился («эгоистическая индифферентность»). «Ты можешь обзывать меня как угодно, Стефан, – вскакивает Моника с вызывающим упрёком, – но сути это не изменит: какой бы Антоньета не была – чёрной, зелёной, еврейкой, гермафродитом, силиконовой транссексуалкой или неудачливой актриской, – она ушла, теперь её здесь нет и точка. Факт в том, что другой Антоньеты не будет. Каждый человек – личность, даже я, даже ты, даже Антоньета, хотя никто не скажет, кем она была, сильной или бледной, злой или сумасшедшей. Я говорю себе, что я личность, и мне достаточно зеркала, чтобы убедиться в этом окончательно, мне не нужно сто тысяч страниц газет, чтобы в этом убедились другие. Пусть спустя триста лет о Монике Э напишут «личностью она не была», мне будет глубоко на это наплевать, Стефан». Стефан после этих слов вскакивает, горделивый, и Монике, изумлённой, кажется, что от него идёт свечение: настолько пафосной ей показалась эта сцена. Она думает, что сейчас самое время прочесть «credo» во имя благодати, снизошедшей с небес. «Credo in deus... credo... credo... resurexit...» – пытается вспомнить она, но ничего не получается, и тогда она произносит совсем другое, но не менее удивительное: «Мы заинтересованы в получении прав для наших общин: как негры, как евреи и как гомосексуалы. Почему мы являемся неграми, евреями или гомосексуалами, совершенно безразлично, и можем ли мы стать белыми, христианами или гетеросексуалами, также не имеет значения». Она останавливается, почти запыхавшись, и смотрит, как Стефан выбегает. «Беги, Стефан, беги, – крестит она его, – останови же рок, пока не поздно. Я ли это говорю?» Стефан в подъезде увидит то место, где расплавилась краска, подожженная горячностью поэта. Увидит отпечатки его глаз на стекле, через которое Ив смотрел во двор, решая, окунуться ему в жару или подождать здесь. Ив стоит рядом с манекеном (Пипи), раздражённо и с нетерпением переминается телом, то и дело смотря на небо, уже потемневшее перед дождём. Оглядывается по сторонам, выискивая кого-нибудь, кто бы помог. Не стоять же вечно около пустой куклы! Ай, где же Стефан?.. «Guarda un po'chi si vede! – кричит он, завидев Стефана. – E'una cannonata! Где ты был? Что вы сделали с Антоньетой? Она плакала здесь, сев на чемоданы. Рыдала, как бешеная. А потом её кринолин стало относить ветром. Антоньета не успела его отцепить и взмыла вверх с чемоданами. Видишь вокруг эти тряпки? Второй чемодан раскрылся, и она заплакала пуще прежнего. Мне даже стало её жаль. Всё таки три месяца прожила с нами, помнит italiano. А не она разве платила за квартиру? Кто теперь будет это делать? А? Может, твои бумажки, что ты рассовал по случайным кошелькам, превратятся в настоящие деньги? Антоньета, Антоньета, где ты? О боже, Антоньета! Этот Стефан переборщил с тобой, Антоньета... А теперь у нас на руках ещё один манекен. Что же ты молчишь, Стефано?» Стефан опомнился. Он смотрит на Ива, кривляющегося перед ним. Рядом стоит безмолвный пластиковый Пипи – ну совсем как живой. «Ты опять обманулся, Стефано, вот и возись с ним. И откуда он? Как мы узнаем, в какую витрину его надо вернуть? Наверняка, он уже перепутал в твоей квартире все свои вещи! А ты посмотри-ка, что у него выпало из кармана! Это же твой бумажник, Стефано, тот, с настоящими

деньгами. Да пошевеливайся, надо затащить его в дом, пока дождь не начался. Помоги же мне!» – плачущая, впадающая в истерику настойчивость Ива подействовала на Стефана, и он

покорно обхватил Пипи за талию («да не так нежно, Стефано, а то я расколочу его»). «Он совсем не тяжёлый», – сказал Стефан, не поворачиваясь. Голова Пипи поплыла в воздухе, и было так странно смотреть на это, потому что волосы, прилипшие грубыми монолитными волнами к голове, были единственным, что отличало манекен от живого человека. И страшная заостренность позы – вполоборота, с вывернутой рукой. «И как, я не знаю, он мог принять его за живого? – думал Ив, следуя за головой на расстоянии, позади Стефана. – Его же выдают волосы – ну обычная пластмасса. Такие волосы сейчас не носят». Моника истошно закричала, увидев, как вносят Пипи, опластиковевшего, в квартиру. С диким ужасом в глазах она наблюдала, как его кладут у стены и накрывают цветастым покрывалом. «Вы что? Вы рехнулись? Или я рехнулась? – металась она. – Что это? Gente mia!» «Mi farai un piacere se la smetterai, – не остался в долгу Стефан, – Это просто манекен». – «Un che?» – «Манекен, обычный манекен». «Кукла», – подтвердил Ив так, словно ожидая от Моника вздоха облегчения «а, ну тогда всё ясно». «Я ошибся, – виновато сказал Стефан, – решив, что это обычный парень, а он оказался манекеном». «Вы смеётесь надо мной?» – извивалась Моника. Нервы её были на пределе, и она закурила. Вообще, в доме у Стефана она стала курить необычайно много, и не только марихуану, о которой до знакомства с Антоньетой, приведшей её сюда, и не знала. Теперь она, кажется, до конца дней не сможет отделаться от этого кошмарного видения: сухой манекен, несколько минут назад смеявшийся и болтавший в этой комнате, лежит у стены под покрывалом. Понятно, почему ушла бедняжка Антоньета. А ещё просила её, мерзавка, не оставлять Стефана! Как же! «Слушайте, я ухожу, – сказала она, – mi sembra d'impazzire, это точно. Тут что-то творится совсем неладное». «А манекен, – неожиданно заинтересовалась она, – это убийство? Или это просто такая метафора (Стефан?), мол, поверхностные люди – они и не люди даже, а манекены, марионетки, и вся прочая литературная мифология?..» «Никаких метафор, дорогая, – сказал экспрессивно жестикулирующий Стефан, усаживаясь на своё обычное кресло у телевизора, – это правда. Живи в реальности, детка. Где ты видишь метафору? Был Пипи, fagiolo, сбежавший от родителей, был Стефано, был Ив, а Пипи это не понравилось, и он убежал и от Стефано, а потом вдруг стал манекеном – это личное дело каждого. Почему бы и нет? К тому же, это вовсе не значит, что он перестал быть личностью. Кому, как не тебе [он подмигнул] знать об этом?» – «Так он всё таки был живым или нет?» «Все мы когда-то были живыми! – вспыхнул Ив. – По крайней мере, я верю в это... Только разве кто скажет определённо? Да ни один манекен тебе не скажет, был ли он живым! Ладно, если у него бы нашлась бирка магазина, тогда мы могли бы ещё хоть что-то выяснить. А так...» Моника, раздувая щёки, закрыв наглухо рот, смеялась, соображая, что бы можно было добавить к этому, и резкими сильными движениями тушила окурок о голову бюста Ленина, когда-то притащенного Антоньетой из одной конторы. Ив приоткрыл покрывало и погладил манекен, отвернувшийся лицом к стене. «Вот ты сказала, – задумчиво произнёс он, – что поверхностные люди становятся манекенами. А поверхностные манекены становятся людьми – по крайней мере это внушает надежду. Но, я повторяю, никто никогда тебе не скажет правду: всё же кто кем становится и что в этом хорошего или плохого». Стефан улыбнулся: «Я ожидал этого от тебя, лапочка». Моника зажала лицо руками. «У меня голова распухает от ваших игр, – устало процедила она через пальцы, – потому что я не понимаю, что здесь происходит». Она вдруг вскинула голову и принялась сметать со столов всё, что могло легко упасть на пол и произвести хоть какой-то шум. Стефан, не обращая внимания на это, обратился к Иву: «И в самом деле, Ив, ты не заметил, что здесь стало твориться нечто странное? Мы словно бы это уже где-то видели». – «Déjà vu». – «Не-эт, Ив, не так... Всё словно бы уже было, понимаешь?» – «Déjà vu». – «Не-эт, при déjà vu возникает кратковременное затмение разума, абсурдная мысль о смещённом временном континууме. А сейчас всё по-другому. О нас даже говорится в прошедшем времени». Моника прислушалась, успокоившись также неожиданно, как было неожиданным то, что она обнаружила для себя: «Il pleut». В комнате уже совсем стемнело, зато прекрасно виднелись

мокрые полосы на стекле окна. Дождь стучал по карнизам, и от этого шума в душах застывших посреди изумительного хлама людей что-то защемило. «Почитайте стихи, Ив», – попросил Стефан, и Моника тихо опустилась на диван.

Труба

1.

Бывают же такие вечера – глупые. Это когда как дурак объеешься, зная, что вредно, а потом маешься перед телевизором – нечего посмотреть, переключая каналы, ни на одном не задерживая взгляда – всё равно везде реклама. А не реклама, так новости. Или телевикторина кто-хочет-стать-миллионером. Да, глупый вечер. Обьелся, помаялся – и на балкон, покурить. А там – вид. Например, родной город. Я вернулся на родные пепелища. Потому что зонтичный зонтик словно горит. Дым, домны, мартены. Это если смотреть на запад – сплошь индустриальное кружево. Оно гудит над цехами, каждым завитком. Совершенно невообразимая музыка, это Оно. Как-то в школе, химия, водили на завод, заставляли гнуться перед совершенством сталелитейного хаоса – трубы, страшные металлические черви, обёрнутые в фольгу и жёлтую вату, чёрные лужи, марсианские башни-каркасы. И тут же – домик, стеклянные двери, очередная контора. Обезумевшие школьники-мутанты, дети керогаза, пьющие соляную в чистом виде. В городе у всех зонты выпотрошены дождями – дырчатые, как сыр. Раскроешь зонтик, а капли пробивают его насквозь. И такой зонтик уже нельзя сложить, так как он весь слипнется. Поэтому Люди давно перешли на железные зонты. На торговом променаде в сырую погоду стоит адский грохот – броуновские пешеходы, спеша по делам, сталкиваются друг с другом своими зонтами. Дикий грохот. Но ничто по сравнению с воем Оно. О, это великая симфония! Японские туристы, приезжающие в Городок каждый год 21 мая, садятся на крыше Мэрии, на специальную трибуну, и слушают Оно. Некоторые, особо впечатлительные студенты-консерваторцы, записывают на нотную бумагу изысканные повороты, например, оригинальную тональность лягза или Мотив Сталепроката. Они говорят, что завидуют жителям Городка, ведь те могут это слушать Постоянно. Не знаю, не могу прокомментировать. Слишком уж я глуп сегодня. Наверное, объелся и намаялся перед телевизором. Вообще, в Городке это бывает с людьми постоянно. Обьедятся, а потом больше ничего не могут. Какая тут музыка!..

Только сел писать об Оно, как позвонили родители от *вых. Сказали, что не могут выехать из того района – вдоль проспекта Ударников к вечеру выстроилась Стена Газов. Явление хоть и редкое, но весьма неприятное. Проспект идёт прямо от проходной, и если ветер сегодня дует как-то небуднично, то Газы пробкой забивают всю проезжую часть. Внутри настоящий ад. Смог настолько плотный, что из него можно лепить Фигуры. В прошлом году к нам приезжала группа скульпторов-концептуалистов. Они зашли в Газы и принялись лепить Фигуры. Говорят, те Фигуры были настолько концептуальны, что с тех пор слово это должно писать не иначе как с Большой буквы. Мэр даже пообещал переименовать проспект из Ударников в Фигуристов, но запротестовал МОК. Всё и застопорилось. А художники те ушли в небытие. Так и растворились в едкой атмосфере Газов. Никто даже имён не запомнил. Это стало всем Уроком – не ходи туда, куда мать не звала. Поэтому если кто собрался ехать из Индустриального района в Спальный – и наоборот, но вдруг узнаёт, что на Ударников – Газы, то остаётся там, где был. Ведь проехать как-то мимо нельзя. В таких случаях всё сходит с рук: например, муж может позвонить жене от любовницы из соседней квартиры и сказать, что останется ночевать в гостинице Завода, так как «Газы, дорогая...» Вот и мои родители остались у *вых. Поехали на несколько часов, на День Рождения, а вернутся теперь только утром, когда Газы рассеются.

Но вообще городок у нас очень интересный, правда-правда. У нас есть дворец Культуры. Хотя часть населения не совсем в этом уверена. Когда говорят «мы были в дК», то кое-кто спрашивает «Это в том, что на Коммунистов?» От дК до самого проспекта идут рыночные ряды, но рядами их никто не называет, а говорят просто «Рынок». Жители улицы Коммунистов – кстати, совсем не коммунисты, а обычные советские люди – как-то пытались жаловаться,

мол, наша улица стала совсем скопищем овощных и тряпочных палаток, но затем решили извлекать из этого Выгоду, сдавая нижние этажи – и даже верхние, вторые – под склады. У моих родственников вся квартира забита бывает арбузами и вьетнамскими куртками. Но это, конечно, не у всех так. Кто-то ещё не успел адаптироваться к новым социальным реалиям. Если приходишь к такому «коммунисту», а у него обычная полупустая квартира, со спальней и Залой, то точно – не успел. Такие люди ходят в Библиотеку. Почему тоже с Большой? Потому что однажды она сгорела, тридцать, вроде бы, лет назад, и по всей стране был брошен клич помочь Городской библиотеке. В те бурные дни у всех жителей Союза на лицах было такое Воодушевление, что любая книга, пришедшая с пометой «Для Вашей Библиотеки», была дорога сердцу каждого. Все гордились, что являются братьями, и библиотека стала символом этого. Вот и стали её называть Библиотекой. А чтоб больше такой ерунды не приключалось, решили максимально увеличить противопожарную безопасность. Поэтому после металлургов самыми почитаемыми работниками являются пожарники. Им даже платят мало, чтобы сохранить ореол. Ведь бог его знает, какие карьеристы будут добиваться такого места, плати пожарникам хорошо. А так быть пожарником могут себе позволить только настоящие Человеки. Рыцари своего дела.

Главным же средоточием светской жизни в Городке является православный Собор. Началось всё с реставрационной эпопеи. После перестройки продвинутые увидели, что Собор вот-вот рухнет, а дивные росписи конца XIX века покрыты Плесенью. И тогда каждый честный человек, озабоченный сохранением исторической памяти и прочего добра, стал стремиться проявить свою щедрость. Был образован комитет по Спасению Художественного наследия, а его головная контора устроилась как раз напротив Собора. Вступление каждого нового члена в комитет сопровождалось крестным ходом и обильным возлиянием. Весь город был заполнен слухами о богатстве стола и о том, кого ещё приняли. Вот таким образом Комитет в течении пяти лет собирал Деньги на реставрацию, а в Девяносто Восьмом, когда Собор всё-таки рухнул, был преобразован в Комитет по Восстановлению. И, надо вам сказать, в таком качестве стал ещё более влиятельным. При нём открылись благотворительные фонды, столовая для неимущих граждан, приют для сирот-инвалидов ВОВ, – ой, всего не перечислить. На третьем этаже Комитета был сооружён банкетный зал, а по сути – закрытый ресторан, и чтобы попасть туда, нужно иметь Связи. Приезжие артисты, например, Пугачёва, после концерта пьют не в советски-шикарном, но теперь уже потёртом «Ленинграде», а в Комитетском Зале. И всё это благодаря Собору! В общем, единение бизнеса и церкви.

Между прочим, бизнес в Городке процветает. Я уже говорил о Рынке – но это так, мелочь. Вот те немногие из простых, что могли одним глазком глянуть, что творится в Комитетском Зале, бывали настолько поражены Процветанием, что их молчание в купе с этой идиотской, прямо таки, улыбкой, говорило красноречивее напыщенного рассказа. Этих счастливицков в самом деле трудно расшевелить после увиденного. Некоторые даже лицезрели Его. Да-да, воочию! И не добьётся ни один самый великий журналист ответа на вопрос – а человек ли Он? Говорят, что он – не просто Он, а никто иной, как Олигарх. Тяжелы будни олигархов – это факт, а уж каково живётся нашему – никто не ведает. Как-то по городу долго обсуждали его Гарем и Виллы. Мол, каждую весну самые красивые юноши и девушки Городка отправляются во владения Олигарха (а владеет он немалым), и там с ними происходят необратимые Изменения. Однажды весной легаты прибыли с очередным Заказом, но не нашлось уже ни одной девушки и ни одного юноши. И тогда мэр города, скрепя Сердце, отдал Алигарху своего сына, легкоатлета, двукратного чемпиона Олимпийских игр, столь красивого парня, что легаты тут же начали Дрочить, не сходя с места, да и умерли от истощения, а дрочили они ни много ни мало без отдыха две недели и три дня – каково? Дескать, после этого неприятного инцидента Алигарх успокоился. Но это явно сказка. Утка. По мне, так ничего интересного в мэрском сыне нет. И сплетня эта – обычный Пиар. Да и Алигарх, думаю, не такое уж чудовище. Тоже вполне

обычный обкомовец, ставший самым крупным акционером. А уж как стал – копать не стоит. Безнадёжное дело.

На самом деле единственное, что есть в Городке примечательного – это Завод, наше всё. Половина жителей работает именно в его цехах. Утром в автобусах, едущих к проходной, такая давка, пассажиры так плотно утрамбовываются, что на конечной остановке их приходится буквальным образом выскребать кочергами. Тут что самое главное: поддеть того, кого прижало массой у двери. Если он отвалится, то герметичность нарушается, внутрь попадает воздух и так вот выталкивает всех остальных. Особенно плохо приходится кондуктору. Потому что за весь маршрут он успевает продать только три билета тем людям, что на самой первой остановке наваливаются на него справа, слева и сверху. Конечно, у большинства есть льготные проездные – это у тех, что глупые. Умные-то давно сообразили, что платить не нужно. Хуже бывает тем умным, которые оказываются в первой околокондукторской тройке. Они сразу слышат писк у своего уха, мол, за билеты-то платить кто будет?

На Заводе десять тысяч печей и двенадцать тысяч сто семнадцать труб. В год Завод производит триллион тонн стали, отливает сто девять тысяч километров проката, восьмьсот мотков канатов толщиной с греческую колонну, один миллион канализационных труб диаметром два метра, а также различные метизы, эмалированную посуду и могильные оградки. Особенно удаются кастрюльки и сковородки – говорят, что на местных сковородках можно готовить без масла и ничего не пригорит, так как эмаль используют такую мол, какой красят изнутри доменные печи. Будто бы этой эмали закупили в начале пятидесятых огромное количество, выкрасили тогда же все пятьсот домен, а что с остальной делать – не придумали, пока не наладили Посудный цех. Устроиться в Посудный можно только по блату. Якобы там вкалывают даже мэрская жена и зять. Ведь там как всё делается – настряпают десять сковородок, а в Бумагу пишут – семь. Остальное несут под свитерами и продают через дилеров на Рынке. За год можно состояние сколотить! А если это всё организовать, поставить на широкую ногу, закупить партию безразмерных свитеров – да на мировые просторы можно выйти! А так дело постепенно приходит в упадок. Конкуренции не выдерживает – людям подавай Югославскую посуду. И сапоги – итальянские. Но сапог у нас не делают. Потому как мы далековато от Италии находимся.

В общем, кто приезжает в Городок, например, те же японцы, те сразу видят Завод. Вокзал – прямо у Проходной. Проспект Ударников – целая галерея Почётных Досок, где раньше как раз висели Ударники. Сейчас доски стоят с пустыми глазницами, и скорее служат местом для расклейки объявлений «Продам квартиру» и «Досуг», но всё равно значительно выглядят. А в конце проспекта площадь Героев с лениным. И если встать на ступенях пьедестала и посмотреть першпективу, то будет виден тот самый пейзаж, по поводу которого поэты восклицали: «О, урби! Экстаз заводских горизонтов!» Действительно завораживает. В дымке плывут нереальные сплетения труб и трубочек, мерцают индустриальные факелы и солидно пыhtят домны, эти альфа-центаврские глыбы. А если не замечать гула автомобилей и пердения жёлтых «Икарусов», то можно ощутить – всеми, как говорится, фибрами – убийственно-космическую какофонию, величайшую симфонию мира. Стоишь ты на ступенях пьедестала, устремив усталые мудрые глаза в начало проспекта, а музыка эта накатывает на тебя печальными волнами, размывая, грубо говоря, душу. И так можно стоять вечность, и думать – о вечном, разрываясь от сознания невозможности петь и нести Радость людям всей планеты. Ведь кто ж поспорит, что Оно делает это лучше тебя? Склоняешься ты тогда перед величием Оно, червь земной, и впитываешь в себя поэзию Последней Эпохи. Но это если ты не объелся, как я сейчас. Если ты ещё в себе после просмотра рекламы. А так – пожалуйста, кто ж мешает. Демократия.

Но это не суть. Суть же – Труба. Сегодня я увидел трубу на востоке. На востоке сиял огонёк, красный миг в антрацитовом делирии. Ах, запад, запад – погряз в Оно, воет, машинный, а восток – чистая линия лесов, в чреве которых племена одичавших экологов исследуют ещё Не-тронутые реки и популяции. И вот – протри глаза, ленивец праздный! Нет более девственных лесов! Увидел я трубу там, где ранее ничего не могло стоять, ведь имеют же совесть вершители судеб. Зиял восточный вакуум наслаждением мудрой в простоте аскезы стороннего, манили людей чащи, где соловьи, полянки, где языческие костры, и шёлковые комнаты переживших славу альгамбр, утонувших в усталых благовониях. Вставало ясное субботнее солнце – Июнь, и наследники суеты, с блуждающими на лицах мечтательными улыбками, медленно втягивались в эфирную прохладу восточных лесов. Они укладывали свои рыхлые тела по берегам Длинного озёра, а к вечеру, откупорив портвейны, сливались в нарядное что-то, фестивальное, с гитарами и беззаботными историями своих давних, а значит – нереальных, мытарств. Приедут теперь друзья, братья и сёстры, а из сердца Озера кровавым ножом торчит – что? Может, новая котельная? Вроде, как-то в газете оповещали... Но теперь посмотри туда, на запад – там не хватает ли жара, чтобы согреть дома и дворцы? Плотное плетение подземных каналов, по которым гремющий кипятик разносит огонь жизни. Да и хватит ли сил соорудить такое сумасшествие за один миг? Ещё вчера глаза отдыхали, отслеживая полёт больных птиц, устремляющихся туда, к другим горизонтам. Небо было столь ярким, что представлялось вульгарным, – ах, наивное в вульгарности небо, незапятнанное! Что наделала с тобою эта ночь? Теперь вздымается дымящая труба, колоссальная турбина, в чьём жерле прессуются индустриально-чистые рубины. Квадрат грязного поля вокруг – всё на благо кристаллов. Тужится, тужится громада, жирная машина, рождая в год свои законные сто граммов корундового блеска. Отложило личинку, гипертрофированное чудовище. Но ведь это просто красный огонёк на горизонте. Возможно, оно ближе к городу, и не факт: если огонёк красен, то рубин – ясен. Этим утром проснётся долгожданное солнце, пасовавшее перед циклонами ушедшего лета, и, само того не желая, нарисует новую с востока тень. Заплачет солнышко – горе! Вставало я над вами, сиротами металлургическими, не ленилось, озаряя из своей колыбели ваши грустные улицы, дарило надежду. А теперь ошетинился ваш город со всех краёв... И завтра рабочие, проснувшиеся, чтобы встать к станкам, удивятся – что за? Выйдут из домов, и потянется траурная процессия зевак – молча, склонив головы. Впервые идут они туда не из праздности, а от недоверия судьбе – нелепо, нелепость, не могут так украсть у нас свет Авроры и слезу Эо, душу Леа и любовь Присциллы. Но этим утром гармоническое сопряжение Мегущихся и их Космического Компьютера-Дзэн будет растоптано и поругано – возникла из небытия Труба трубная, всесилие механического, и никто не объяснит, какое в этом предназначение. Я видел: чисто было там, свято было место. Правда, пусто не бывает...

Но это, конечно, Эксперименты пентагона. Происки спецслужб. Секретная программа, особая подготовка, закрытые подземные корпорации. С изменением характера Холодной войны, после так называемой перестройки, а на самом деле – большой операции по отмыванию брежневских нефтедолларов, активизировались разработки НАСА. В начале девяностых были свёрнуты многие проекты – по крайней мере, об этом было заявлено Сенатом газетчикам. Естественно, никто ничего не сворачивал, а лишь увёл в подполье. Десятистепенные уровни защиты. Абсолютная герметичность и стерильность. Каждый служащий официально считается умершим или пропавшим без вести в пустынях Ирака. Миллиарды долларов через подставных лиц и покупку акций несуществующих компаний, вроде М. Годы и годы упорного труда. Наконец, в недрах лабораторий появляется проект Труба – сверхсекретное оружие массового поражения. Труба изменит мир. Она уже начала его менять. По расчетам самых высокопоставленных профессоров – даже гуманитариев – Колумбийского университета, Труба должна приземлиться в 00:00 по Московскому времени на Восточном поле близ Городка. Верный расчет! Близость к стратегическим запасам доменной эмали и превосходный вид на Длинное озеро – удиви-

тельной прозорливостью ума обладают профессора. Пойдите! Есть в этом что-то игрушечное, в этом предположении. Потому что логика – взвешанная.

Видно мне теперь, со своей высоты, – не человеческих это рук дело. Ведь говорили: придет день, и будет плохо. Всем, причём. Говорили: придет день, и опустится ночь. На далёкой звезде, на полях металлического водорода, рождён будет Тот, Который Всё И Свершит. Планету его сотрясёт в миг, и Тот вынужден будет спастись на межпланетной турбине. Займёт его путь без малого четыре световых года, четыре месяца и четыре дня. А на Пятый день турбина его встанет на неизвестной земле, где, главное, всё такое же, как и на той, далёкой: и атмосфера, и жидкости, и давление. Единственное, не будет там полей металлического водорода, из предсмертного спокойствия которых и был Тот рождён. И будет цель – сравнять горы, поднять впадины, и засеять Обетованную жизненно важным материалом. Тогда Тот будет доволен... Но странно, что Труба его приземлилась именно здесь.

Пою я песнь свою адишу города! Ибо печально.

Увидел трубу я на востоке – что маячит она, одинокая, в своей глуши за шоссе? Что судьба её? Настало время новое, возвещаю: гуманоиды с черными глазами растворятся среди толп! Первый Период будут они, подпитываясь от Трубы, льстить человечеству, будут обучать новым философиям и дарить технологии. Во Второй Период будет глобальное отупение. В Третьем Периоде разразится война – и победят гуманоиды. Вот, вижу: Генерал их, во славе и в доблести, восседает трон, и глаза его, очи чёрные, поистине мудры – поистине бесчеловечны. Вкусил он земного величия – и пресытился. Вижу, вижу: Труба объявлена первым бастионом колонизации, стоит свидетельством их генерации, и вход туда платный. Горе!.. Инаугурат, повелитель Молний и Автократор – уникальный самодержец планеты. Судьба Земли находится в единственном атоме золота в его правом мизинце. Вот, вижу: спускаются его Пресвятые Сёстры, императрица Фортуна и королева Мессалина, дабы вершить суд по сторонам трона. Голос их труб: мать их – Труба. Интеллект их всемогущ: их отец – весь Космос, слитый коитусом с взвешанным Принцем, псевдогенератором Трубы. Зовут они меня – прииде, доmine, прииде. И я пойду тогда к ним, опережая сограждан, я первым спрошу у Него обо всём деле. И если надо будет – приму свой крест. Пусть меня поглотит турбина Пентагона и спрессует в крохотный рубин. Завтра, когда уже всё свершится, когда я выполню свою миссию, горожане проснутся – как обычно, от воя Оно. И ни у одного из них не возникнет тёмной мысли об опороченном восточном горизонте. Ещё через сутки раздадутся первые гитарные рифы – это трели едущих на выходные на Озеро. В их корзинках мутно оплывают стенки бутылей с дурманящей влагой и лоснятся жирные окорока. Вот, ещё несколько шагов – и начинается восточный лес, сад чудес, в центре которого – волшебный сосуд, будто бы озеро. Из него вытекают Тигр, Нил и Евфрат, разнося чистые капли райского совершенства во все стороны Света: в Европу, в Азию и в Африку. Насытятся эбеновые ливийцы с шеями из чистого золота, будут черпать воду своими посеребрёнными руками пустынных аристократов. Насытятся тогда и многорукие инды, изнеженные обилием пряностей и бриллиантов, будут черпать воду пиалами, высеченными из цельных сапфиров. Насытятся также и стойкие нордики, дети Одина, напоят водой синь своих охлаждённых глаз и сверканье своих арктических длинных кос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.